

ПРЕДЧУВСТВИЕ КОНЦА

ДЖУЛИАН БАРНС

РОМАН — ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2011 ГОДА!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Предчувствие конца
Джулиан Патрик Барнс

Аннотация
Джулиан Барнс. Предчувствие конца
Часть первая
Часть вторая
О романе

Аннотация

Впервые на русском — новейший роман, пожалуй, самого яркого и оригинального прозаика современной Британии. Роман, получивший в 2011 году Букеровскую премию — одну из наиболее престижных литературных наград в мире.

В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался». После школы четверо клянутся в вечной дружбе — и надолго расходятся в разные стороны; виной тому романтические переживания и взрослые заботы, неожиданная трагедия и желание поскорее выбросить ее из головы… И вот постаревший на сорок лет Тони получает неожиданное письмо от адвоката и, начиная раскручивать хитросплетенный клубок причин и следствий, понимает, что прошлое,

казавшееся таким простым и ясным, таит немало шокирующих сюрпризов…

Джулиан Барнс
Предчувствие конца[1]

Посвящается Пат

[1] Примечания: 1

Название романа — «Предчувствие конца» (The Sense of an Ending) — Барнс позаимствовал из одноименной книги литературоведа Фрэнка Кермоуда (1919–2010), выпущенной в 1967 г. Книга эта представляет собой собрание лекций, в которых анализируются взаимоотношения прозы (от Платона до Уильяма Берроуза) с вековыми представлениями о кризисе, хаосе и апокалипсисе.

Часть первая

Вот что мне запомнилось (в произвольной последовательности):

— лоснящаяся внутренняя сторона запястья;

— пар, который валит из мокрой раковины, куда со смехом отправили раскаленную сковородку;

— сгустки спермы, что кружат в сливном отверстии, перед тем как устремиться вниз с высоты верхнего этажа;

— вздыбленная пенной волной река, текущая, вопреки здравому смыслу, вспять под лучами пяти-шести фонариков;

— другая река, широкая, серая, текущая непонятно куда, потому что ее будоражит колючий ветер;

— запертая дверь, а за ней — давно остывшая ванна.

Последнее, вообще говоря, я сам не видел, но память в конечном итоге сохраняет не только увиденное.

Все мы существуем во времени — оно нас и формирует, и калибрует, но у меня такое ощуще-

ние, что я его никогда до конца не понимал. Не о том речь, что оно, согласно некоторым теориям, как-то там изгибается и описывает петлю или же течет где-то еще, параллельным курсом. Нет, я имею в виду самое обычное, повседневное время, которое рутинно движется вперед заботами настенных и наручных часов: тик-так, тик-так. Что может быть убедительнее секундной стрелки? Но малейшая радость или боль учит нас, что время податливо. Оно замедляется под воздействием одних чувств, разгоняется под напором других, а подчас вроде бы куда-то пропадает, но в конце концов достигает того предела, за которым и в самом деле исчезает, чтобы больше не вернуться.

Мои школьные годы не представляют для меня особого интереса, и никакой ностальгии у меня нет. Однако начиналось все именно в школе, а потому нужно вкратце изложить некоторые события, выросшие до масштаба исторических эпизодов, и кое-какие смутные воспоминания, из которых время слепило уверенность. Коль скоро реальные события для меня не особенно отчетливы, постараюсь хотя бы придерживаться оставленных ими впечатлений.

Нас было трое, а теперь он стал четвертым. Мы вовсе не стремились расширять свой тесный

круг: всякие тусовки и группировки остались в прошлом, и нам уже не терпелось вырваться из школы в настоящую жизнь. Звали его Адриан Финн; это был голенастый застенчивый парнишка, который поначалу смотрел в пол и держал свои мысли при себе. День-два мы его попросту не замечали: у нас в элитной школе не принято было устраивать новичкам торжественную встречу, а уже тем более — унизительную «прописку». Мы лишь зафиксировали его появление и стали ждать.

Учителя проявили к нему больше интереса. Им предстояло выяснить, насколько он умен и дисциплинирован, хорошо ли подготовлен и какой из него выйдет «педагогический материал». В той осенней четверти у нас на третий день пришелся урок истории, который вел Джо Хант, насмешливо-добродушный старикан в неизменном костюме-тройке; для обеспечения порядка он поддерживал на своих занятиях достаточный, но не чрезмерный уровень скуки.

— Как вы помните, у вас было задание на лето: прочесть вводный раздел о царствовании Генриха Восьмого. — (Мы с Колином и Алексом переглянулись в надежде, что заброшенный учителем крючок с насаженной мухой не доле-

тит до наших голов.) — Кто охарактеризует этот период? — (Мы старательно отводили в сторону взгляды, чем подсказали ему разумный выбор.) — Ну, Маршалл, пожалуйста. Что вы можете сказать об эпохе Генриха Восьмого?

Наше облегчение оказалось сильнее любопытства, потому что осторожный Маршалл был отстающим учеником, лишенным той фантазии, что свойственна подлинным олухам. Не найдя в заданном ему вопросе подводных камней, он в конце концов выдал:

— В стране был хаос, сэр.

По классу прокатились еле сдерживаемые смешки; даже Хант почти улыбнулся.

— Нельзя ли немного подробнее?

Маршалл неторопливо покивал в знак согласия, подумал еще и решил пойти ва-банк.

— Я бы сказал, в стране был великий хаос, сэр.

— Финн, прошу вас. Вы подготовились?

Новичок сидел передо мной, слева. На тупость Маршалла он не отреагировал.

— К сожалению, нет, сэр. Но существует мнение, что о любом историческом событии, даже, к примеру, о начале Первой мировой войны, можно с уверенностью сказать только одно: «нечто произошло».

— Неужели? Если так, я скоро без работы останусь.

Выждав, когда умолкнет подхалимский смех, старина Джо Хант простил нам летнюю расхлябанность и сам рассказал про венценосного мясника-многоженца.

На перемене я разыскал Финна.

— Меня зовут Тони Уэбстер, — (Он ответил мне настороженным взглядом.) — Жестко ты срезал Ханта. — (Казалось, он даже не понимает, о чем речь.) — Ну это: «нечто произошло».

— А, да. Я в нем разочаровался — он ушел от темы.

От него я ожидал совсем другой реакции.

Еще одна подробность, которая мне запомнилась: мы, все трое, в знак нашего единства носили часы циферблатом вниз, на внутренней стороне запястья. Это был чистой воды выпендреж, а может, и не только. Время становилось для нас личной и даже тайной собственностью. Мы думали, что Адриан заметит эту фишку и последует нашему примеру, но ничуть не бывало.

В тот же день — а может, и в другой — у нас был сдвоенный урок английского и литературы, который вел молодой учитель Фил Диксон, недавний выпускник Кембриджа. Он любил разбирать со-

временные произведения и частенько ставил нас в тупик. «„Рожденье, и совокупленье, и смерть. И это все, это все, это все“, — говорит нам Элиот.[2] Ваши комментарии?» Однажды он сравнил кого-то из шекспировских героев с Керком Дугласом в фильме «Спартак». А когда мы обсуждали поэзию Теда Хьюза, он, как сейчас помню, презрительно склонил голову набок и процедил: «Всем любопытно знать, что он будет делать, когда исчерпает запас животных».[3] Время от времени он обращался к нам «джентльмены». Естественно, мы перед ним преклонялись.

На том уроке он раздал всем одно и то же стихотворение без названия, без даты, без имени автора, засек время, а через десять минут попросил нас высказаться.

---

[2] Примечания: 2

«Рожденье, и совокупленье, и смерть. И это все, это все, это все», — говорит нам Элиот. — Томас Стернз Элиот (1888–1965) — американец по происхождению, выдающийся британский поэт-модернист, драматург, переводчик, эссеист; лауреат Нобелевской премии по литературе (1948). Цитируется его стихотворение «Суини-агонист» (1926–1927), в переводе А. Сергеева.

[3] Примечания: 3

А когда мы обсуждали поэзию Теда Хьюза, он… процедил: «Всем любопытно знать, что он будет делать, когда исчерпает запас животных». — Тед Хьюз (Эдвард Джеймс Хьюз, 1930–1998) — английский поэт и детский писатель. С 1984 г. до конца жизни — Британский поэт-лауреат (т. е. придворный поэт, утвержденный монархом и традиционно призванный откликаться торжественными стихами на важные события в жизни государства и королевской семьи). В стихах

Хьюза фигурируют ястреб, ворона, лось, лиса, речная форель и многие другие представители фауны.

— Давайте начнем с вас, Финн. Своими словами: как бы вы определили суть этого стихотворения?

Адриан поднял глаза от парты.

— Эрос и Танатос, сэр.

— Хм. Поясните.

— Секс и смерть, — продолжал Финн, как будто даже самые безнадежные тупицы с задних парт должны были понимать по-гречески. — Или, если угодно, любовь и смерть. В любом случае здесь присутствует конфликт между половым инстинктом и инстинктом смерти. А также следствие этого конфликта. Сэр.

Наверное, у меня на лице отразилось такое обалдение, которое Диксон счел нездоровым.

— Уэбстер, теперь вы нас просветите.

— Я, честно говоря, подумал, что это стихотворение про сову, сэр.

В этом заключалось одно из различий между нашей троицей и новичком. Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался. Чтобы это понять, требовалось время.

Адриан позволил втянуть себя в нашу компанию, не подавая виду, что сам к этому стремился. Возможно, он и не стремился. Во всяком случае,

никогда не пытался под нас подладиться. Во время утренней молитвы он подхватывал ответствия, тогда как мы с Алексом только шевелили губами, а Колин издевательски строил из себя истового богомольца и орал в полный голос. Мы, все трое, считали, что спортивные секции придуманы тайными фашиствующими силами для подавления нашей сексуальности; Адриан между тем вступил в фехтовальный клуб и занялся прыжками в высоту. Мы кичились полным отсутствием слуха; Адриан принес в школу кларнет. Когда Колин хаял свою семью, когда я высмеивал политический строй, когда Алекс высказывал философские возражения против видимой сущности материального мира, Адриан помалкивал — во всяком случае, на первых порах. Создавалось впечатление, что он верит в какие-то идеалы. Мы тоже были этого не чужды, только нам хотелось верить в собственные идеалы, а не в те, что кем-то придуманы за нас. Отсюда — наш скепсис, который мы приравнивали к очищению.

Школа находилась в центре Лондона, и мы ездили на уроки из разных районов, перемещаясь из одной системы контроля в другую. В ту пору жилось проще: ни тебе больших денег, ни электронных гаджетов, ни тирании моды, ни де-

вочек. Ничто не отвлекало нас от человеческого и сыновнего долга: учиться, сдавать экзамены, чтобы потом на основании полученных знаний найти работу и в конце концов обеспечить себе более полнокровную и благополучную жизнь, чем у наших родителей, которые будут нами гордиться, но втайне припоминать собственную молодость, когда жизнь была проще, а потому несравненно лучше. Эти соображения, конечно, вслух не высказывались: над нами всегда довлел умеренный социальный дарвинизм английского среднего класса.

— Какие все-таки гады — предки, — завелся однажды Колин на большой перемене, в понедельник. — В детстве кажется: нормальные люди, а потом до тебя доходит, что они ничем не лучше…

— Генриха Восьмого, Кол? — подсказал Адриан.

Мы уже начали привыкать к его иронии, а также к тому обстоятельству, что она может обернуться против любого из нас. Насмешничая или призывая к серьезности, он именовал меня Антонием, Алекса — Александром, а неудлиняемое имя Колина стягивалось у него в «Кол».

— Я бы слова не сказал, если б у моего папаши

была дюжина жен.

— И куча денег.

— И если бы Гольбейн написал его портрет.[4]

— И если бы он послал Папу Римского куда подальше.[5]

— А почему сразу «гады» — что они такого сделали? — спросил Алекс.

— Я хотел, чтобы мы все вместе поехали в луна-парк. А они говорят: в выходные нужно в саду поработать.

Действительно, гады. Только не для Адриана, который слушал наши обличения, но почти никогда не встревал. При этом, как нам казалось, он мог бы сказать больше многих. Его мать давным-давно ушла из семьи, предоставив мужу воспитывать Адриана и его сестру. В те годы еще не вошло в обиход выражение «неполная семья»; тогда говорили «разбитая семья», и Адриан был

---

[4] Примечания: 4

Генриха Восьмого… если бы Гольбейн написал его портрет. — Ганс Гольбейн-младший (1497–1543) — один из величайших немецких художников. Работая в Англии, создал портреты монарших особ, в том числе несколько портретов Генриха VIII, и эскизы парадных придворных облачений.

[5] Примечания: 5

…послал Папу Римского куда подальше. — Король Генрих VIII порвал с папством после того, как Папа Климент VII отказался аннулировать его брак с Екатериной Арагонской. Этот разрыв положил начало религиозной реформации в Англии, в результате которой король был объявлен главой англиканской церкви.

единственным из наших знакомых, кто происходил из такой семьи. Он мог бы озлобиться на весь свет, но этого почему-то не произошло; по его словам, он любил маму и уважал отца. По секрету от Финна мы разобрали его случай по косточкам и обосновали теорию: рецепт семейного счастья в том, чтобы вовсе не заводить семью или, по крайней мере, жить порознь. Придя к такому выводу, мы стали еще больше завидовать Адриану.

В ту пору мы считали, что томимся в каком-то загоне, и не могли дождаться, когда нас выпустят на волю. А когда настанет этот миг, наша жизнь — и само время — понесется стремительным потоком. Откуда нам было знать, что жизнь как-никак уже началась, что мы уже получили некоторую фору и понесли некоторый ущерб? А кроме того, если нас куда-то и выпустят, то лишь в другой загон, попросторнее, с трудно различимыми на первых порах границами.

Но пока этого не произошло, мы были одержимы книгами, сексом, идеями меритократии и анархизма. Все политические системы виделись нам порочными, но мы не рассматривали никаких альтернатив, кроме гедонистического хаоса. Однако Адриан подтолкнул нас к мысли, что идеи могут воплощаться в жизнь, а наши

принципы должны руководить нашими поступками. Раньше главным философом у нас был Алекс. Он почитывал кое-какие первоисточники и мог, например, ни с того ни с сего заявить: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».[6] Мы с Колином ненадолго впадали в задумчивость, а потом ухмылялись и продолжали трепаться. Появление Адриана низвергло Алекса с пьедестала, точнее, предоставило нам возможность открыть для себя другого философа. Если Алекс читал Рассела и Витгенштейна, то Адриан — Камю и Ницше. Я читал Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, Колин — Бодлера и Достоевского. Но это лишь жалкая карикатура.

Да, конечно, мы выделывались — а как же без этого в юности? Сыпали такими терминами, как *«Weltanschauung»*[7] и *«Sturm und Drang»*,[8] без конца повторяли «с философской точки зрения это самоочевидно» и убеждали друг друга, что

---

[6] Примечания: 6

«О чем невозможно говорить, о том следует молчать» — заключительный афоризм из «Логико-философского трактата» (нем. изд. 1921, англ. изд. 1922) австро-английского философа Людвига Витгенштейна (1889–1951), одного из виднейших мыслителей XX века.

[7] Примечания: 7

Мировоззрение *(нем.)*.

[8] Примечания: 8

Буря и натиск *(нем.)*.

воображение в первую очередь должно быть трансгрессивным. Наши родители смотрели на это со своей колокольни: каждого из нас в семье считали невинным агнцем, угодившим под чье-то пагубное влияние. Так, мать Колина прозвала меня «темным ангелом»; мой отец ополчился на Алекса, увидев у меня в руках «Коммунистический манифест», а в Колина стали тыкать пальцем родители Алекса, когда застукали своего сына за чтением жесткого американского детектива. И так далее. В отношении секса — то же самое. Родители опасались, что мы будем растлевать друг друга и падем жертвами того порока, который пугал их больше всего: один станет заядлым онанистом, другой — манерным педиком, а третий неисправимым бабником. Переживая за нас, они боялись, что их сына совратит одноклассник, случайный попутчик в поезде или какая-нибудь дрянная девчонка. Насколько же их страхи опережали наш опыт…

Как-то раз старина Джо Хант, будто припоминая вызов, брошенный ему Адрианом, предложил нам обсудить причины Первой мировой войны, а именно роль убийцы эрцгерцога Фердинанда. В ту пору мы в большинстве своем были максималистами: «да — нет», «хорошо — плохо», «виновен

— невиновен» или хотя бы, как в той истории с Маршаллом, «хаос — великий хаос». Нас увлекали те игры, которые можно либо выиграть, либо проиграть, но не свести вничью. Поэтому для некоторых сербский террорист, чье имя давно вылетело у меня из головы, был кругом виновен, потому как воплощал собой ту историческую силу, которая столкнула враждебные государства: «Балканы были пороховой бочкой Европы» и все такое. Самые ярые анархисты, вроде Колина, заявляли, что все эти события произошли по воле случая, что мир пребывает в состоянии непреходящего хаоса и только первобытный инстинкт рассказчика, сам по себе являющийся отрыжкой религии, задним числом придает хоть какой-то смысл всему, что могло произойти, а могло и не произойти.

Коротким кивком Хант засвидетельствовал подрывные идеи Колина, будто показывая, что мрачный нигилизм — естественный побочный продукт юности, который нужно перерасти. Учителя и родители не уставали нам внушать, что они тоже когда-то были молоды, а потому знают, что говорят. Это всего лишь некий этап, твердили они. Вы его перерастете; жизнь покажет вам, что такое реализм и реалистичность. Но в то время

у нас не укладывалось в голове, что они когда-то могли быть похожи на нас, и мы не сомневались, что понимаем жизнь — а также истину, мораль, искусство — куда правильнее, чем старшее поколение, запятнавшее себя компромиссами.

— Финн, что-то вас сегодня не слышно. Вы же сами запустили этот снежный ком. Стали, так сказать, нашим сербским террористом. — Хант помолчал, чтобы аллюзия внедрилась в умы. — Не будете ли вы так любезны поделиться своими мыслями?

— Право, не знаю, сэр.

— Чего вы не знаете?

— Ну, в некотором смысле мне не дано знать, чего я не знаю. С философской точки зрения это самоочевидно. — Он выдержал небольшую паузу, и мы в очередной раз начали гадать: то ли это была тонкая издевка, то ли высокоинтеллектуальная сентенция, недоступная нашему пониманию. — Нет, в самом деле, разве поиски виновного — это не лукавство? Мы хотим возложить ответственность на конкретную личность, чтобы оправдать всех остальных. Еще бывает, что мы возлагаем ответственность на исторический процесс, чтобы обелить конкретных личностей. Или говорим, что все это — анархический ха-

ос, но результат тот же самый. По-моему, здесь наблюдается — наблюдалась — цепочка индивидуальных ответственностей, все звенья которой были необходимы, но эта цепочка не настолько длинна, чтобы теперь каждый мог обвинять всех остальных. Разумеется, мое желание возложить на кого-либо ответственность продиктовано скорее моим собственным складом ума, нежели беспристрастным анализом тех событий. В этом и состоит ключевой вопрос истории, не так ли, сэр? Проблема субъективной *versus* объективной интерпретации, необходимость знакомства с историей самого историка, без которой невозможно оценить предлагаемую нам версию.

В классе повисло молчание. Нет, Финн не прикалывался, ничуть.

Старина Джо Хант посмотрел на часы и улыбнулся.

— Финн, мне через пять лет на пенсию. Если пожелаете занять мое место, охотно дам вам рекомендацию.

Что характерно: старикан тоже не прикалывался.

Однажды утром, во время общего построения, директор загробным голосом, которым обычно возвещал исключение из школы или катастрофи-

ческое поражение в спортивных соревнованиях, объявил, что у него для нас печальное известие: на выходных скончался ученик шестого физико-математического класса по фамилии Робсон. Под шелест приглушенных возгласов мы узнали, что Робсон погиб во цвете юности, что его кончина стала большой потерей для нашей школы и что все мы будем мысленно присутствовать на похоронах. Директор сказал все положенные слова, за исключением тех, что хотел услышать каждый: как, почему и, если смерть была насильственной, от чьей руки.

— Эрос и Танатос, — прокомментировал Адриан перед началом первого урока. — Танатос вновь побеждает.

— Эрос и Танатос были Робсону до лампочки, — возразил Алекс.

Мы с Колином согласно кивнули. Нам ли не знать — Робсон пару лет учился с нами в одном классе: неприметный, скучный мальчишка, нисколько не интересовался литературой, успевал ни шатко ни валко, никому ничего плохого не делал. А теперь насолил всем сразу: затмил остальных своей безвременной кончиной. «Во цвете юности» — надо же было такое загнуть: Робсон, каким мы его знали, был не цветком, а

овощем.

Никто ни словом не обмолвился ни о болезни, ни о мотоциклетной аварии, ни о взрыве газа, а через несколько дней до нас дошел слух (читай: Браун из шестого физико-математического), проливший свет на то, чего не знало или не захотело сказать школьное начальство. Робсон обрюхатил свою девчонку, повесился на чердаке и был вынут из петли только на третьи сутки.

— Кто бы мог подумать, что он допрет, как люди вешаются.

— Не забывай, он в физмат-классе учился.

— Но там ему не показывали, как скользящий узел завязывать.

— Да это только в кино бывает. И перед казнью. Узел любой сгодится. Просто мучиться будешь дольше.

— Как думаешь, что у него за телка?

Мы стали перебирать все известные нам варианты: стыдливая девственница (теперь уже бывшая), вульгарная торговка, опытная женщина постарше, шлюха с букетом венерических болезней. Но Адриан перенаправил наш интерес в другое русло.

— У Камю сказано, что самоубийство — единственная по-настоящему серьезная философская

проблема.[9]

— Если не считать этику, политику, эстетику, природу бытия и прочую дребедень. — У Алекса в голосе зазвенел металл.

— Единственная *по-настоящему* серьезная философская проблема. Основополагающая, которая определяет все остальное.

После длительных обсуждений мы пришли к выводу, что самоубийство Робсона может считаться философской проблемой только в арифметическом смысле: потенциально увеличив население Земли на единицу, он не счел себя вправе способствовать перенаселению планеты. Но во всех других отношениях, как мы рассудили, Робсон подвел и нас, и всю серьезную мысль. Его поступок был антифилософским, эгоцентричным и далеким от эстетики, короче говоря — неправильным. А предсмертная записка, которая, по слухам (опять же читай: по Брауну), гласила: «Мама, прости», оставила у нас ощущение, что текст мог быть куда более информативным.

Возможно, мы бы проявили больше сочувствия к Робсону, если бы не один кардинальный, незыб-

---

[9] Примечания: 9

У Камю сказано, что самоубийство — единственная по-настоящему серьезная философская проблема. — Цитируется философское эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» (1942).

лемый факт: Робсон был нашим сверстником и, как нам казалось, совершенно заурядным типом, однако он не просто подцепил девчонку, но и определенно имел с ней секс. Вот паршивый ублюдок! Почему он, а не мы? Почему ни один из нас даже не получил отлуп? По крайней мере, унижение прибавило бы нам житейской мудрости, дало бы основания для негативного бахвальства («На самом деле, она сказала буквально следующее: прыщавый кретин с харизмой башмака»). Из классической литературы мы знали, что Любовь неотделима от Страдания, и с готовностью поучились бы страдать, будь у нас хоть эфемерная, хоть гипотетическая перспектива Любви.

В этом заключалось еще одно наше опасение: а вдруг Жизнь окажется совсем не такой, как Литература? Взять хотя бы наших родителей — разве они сошли со страниц Литературы? В лучшем случае они могли претендовать на статус наблюдателей или зевак, нитей занавеса, на фоне которого выступают реальные, настоящие, значительные вещи. Например? Да все то, что составляет Литературу: любовь, секс, мораль, дружба, счастье, страдание, предательство, измена, добро и зло, геройство и подлость, вина и безвинность,

честолюбие, власть, справедливость, революция, война, отцы и дети, противостояние личности и общества, успех и поражение, убийство, суицид, смерть, Бог. И сова. Конечно, имеются и другие литературные жанры — умозрительные, рефлексивные, слезливо-автобиографичные, но это сплошная фигня. Настоящую литературу интересуют психологические, эмоциональные и социальные истины, которые выявляются в поступках и мыслях персонажей; роман — это развитие характера во времени. Во всяком случае, так учил нас Фил Диксон. И единственной личностью — не считая Робсона, — чья жизнь хотя бы отдаленно напоминала роман, оказался Адриан.

— А почему твоя мама бросила отца?

— Точно не знаю.

— У нее появился другой?

— Она наставила отцу рога?

— А у твоего папы любовница была?

— Не имею представления. Они твердили, что я все пойму, когда вырасту.

— Предки вечно юлят. А я им говорю: нет, вы мне объясните *сейчас.* — На самом деле я ничего такого не говорил. И в нашем доме, к моему смущению и разочарованию, не было никаких тайн.

— Может, твоя мать себе молодого нашла?

— Откуда я знаю? Мы же у них не встречаемся. Она всегда в Лондон приезжает.

Бесполезняк. В романе Адриан ни за что не смирился бы с таким положением дел. Коль скоро ты попал в ситуацию, достойную пера литератора, то и веди себя по законам жанра, а иначе какой от этого прок? Ему бы посидеть в засаде или скопить энную сумму из карманных денег и нанять частного детектива, а то и заручиться нашей поддержкой, чтобы вчетвером отправиться на Поиски Истины. Или это уже была бы не литература, а детская сказка?

В конце учебного года, на последнем уроке истории, старина Джо Хант, который провел свою полусонную паству через дебри Тюдоров и Стюартов, викторианцев и эдвардианцев, Возвышения и последующего Упадка Империи, предложил нам оглянуться на минувшие века и попытаться сделать выводы.

— Давайте начнем с простого на первый взгляд вопроса: что такое История? Какие будут соображения, Уэбстер?

— История — это ложь победителей, — выпалил я, слегка поспешив.

— Да, я опасался, что вы именно это и скажете.

Ну, если уж на то пошло, не будем забывать, что история — это также самообман побежденных. Симпсон?

Колин лучше меня собрался с мыслями.

— История — это сэндвич с луком, сэр.

— Почему же?

— Да потому, что и то и другое повторяется, сэр. И оставляет после себя отрыжку. В этом учебном году мы не раз видели тому подтверждение. Один и тот же навязший в зубах сюжет, одни и те же крайности — тирания и бунт, война и мир, обогащение и обнищание.

— Не многовато ли начинки для одного сэндвича?

Мы смеялись дольше положенного, войдя в предканикулярный раж.

— Финн?

— История — это уверенность, которая рождается на том этапе, когда несовершенства памяти накладываются на нехватку документальных свидетельств.

— Вот как? Кто же такое сказал?

— Лагранж, сэр. Патрик Лагранж. Француз.

— Тогда понятно. Будьте добры, приведите пример.

— Самоубийство Робсона, сэр.

По классу пролетел общий вдох; многие стали крутить головами, рискуя получить замечание. Но Хант, как и другие учителя, отводил Адриану особую роль. Когда кто-нибудь из нас позволял себе провокационное высказывание, его пропускали мимо ушей как мальчишество — недостаток, который с возрастом проходит. Провокации Адриана почему-то приветствовались как поиски истины, пусть даже неумелые.

— Какое это имеет отношение к делу?

— Это историческое событие, сэр, хотя и скромного масштаба. Зато свежее. Поэтому его легко трактовать как историю. Мы знаем, что Робсон мертв, знаем, что у него была подруга, знаем, что она беременна — точнее, была беременна. Что еще мы имеем? Единственный документ: предсмертную записку, в которой сказано «Мама, прости» — если верить Брауну. Эта записка цела? Или уничтожена? Имелись ли у Робсона другие побуждения или мотивы, наряду с очевидными? В каком душевном состоянии он пребывал? Можно ли наверняка утверждать, что ребенок — от него? У нас нет ответов, даже сейчас, когда эти события еще свежи в памяти. А если кто-нибудь возьмется написать историю Робсона через пятьдесят лет, когда его родителей уже не будет

в живых, а подруга уедет куда глаза глядят и вообще не захочет о нем вспоминать? Улавливаете суть проблемы, сэр?

Мы все уставились на Ханта, опасаясь, что в этот раз Адриан зашел слишком далеко. Слово «беременна» висело в воздухе меловой пылью. А дерзкое предположение о сомнительном отцовстве, которое выставило Робсона школьником-рогоносцем… Через некоторое время учитель ответил:

— Я улавливаю суть проблемы, Финн. Но полагаю, что вы недооцениваете историю. И кстати, историков тоже. Давайте примем, в рамках сугубо научной дискуссии, что бедный Робсон будет представлять собой определенный исторический интерес. Историки во все века сталкивались с нехваткой прямых доказательств. Им к этому не привыкать. Позвольте напомнить, что в данном случае, по всей видимости, было проведено расследование, а значит, осталось заключение коронера. Вполне возможно, что Робсон вел дневник, писал письма, делал телефонные звонки, содержание которых стало известно. Его родители, скорее всего, отвечали на соболезнования. А через пятьдесят лет, учитывая нынешнюю продолжительность жизни, многие его одно-

классники будут еще способны давать интервью. Наверное, дело не столь безнадежно, как вам представляется.

— Но ничто не заменит показаний самого Робсона, сэр.

— С одной стороны, да. Но с другой, историки по долгу службы относятся к показаниям участников событий с известной долей скепсиса. Причем особое недоверие вызывают те заявления, которые сделаны с прицелом на будущее.

— Вам виднее, сэр.

— А поступки человека зачастую выдают его душевное состояние. Тиран вряд ли будет писать записку с просьбой уничтожить врага.

— Вам виднее, сэр.

— Естественно.

Можно ли принять это как дословное воспроизведение их диалога? Почти наверняка нет. Но я по мере сил соблюдаю точность.

После окончания школы мы поклялись в дружбе до гроба и разошлись в разные стороны. Адриан, как и предполагалось, получил стипендию для поступления к Кембридж. Я начал изучать историю в Бристольском университете. Колин обосновался в Суссексе; Алекс пошел по отцовским стопам — в бизнес. Мы писали друг другу

письма, как делали в ту эпоху все нормальные люди, даже молодые. Но эпистолярным жанром мы владели слабо, а потому наше ерничество иногда заслоняло важность содержания. Начать письмо словами «Сим подтверждаю получение Вашей эпистолы от 17-го числа сего месяца» казалось нам верхом остроумия, по крайней мере на первых порах.

Мы решили встречаться каждый раз, когда трое новоиспеченных студентов будут приезжать домой на каникулы, но это не всегда получалось. А переписка, можно сказать, изменила динамику наших отношений. Мы трое все более вяло писали друг другу, зато Адриану — с возрастающим энтузиазмом. Нам хотелось его внимания и одобрения; мы его обхаживали, ему первому рассказывали самые крутые истории, причем каждый из нас считал, что сделался — и совершенно заслуженно — его ближайшим другом. Каждый из нас постоянно заводил новых знакомых, тогда как Адриан, в нашем понимании, был одинок: получалось, что ближе нашей троицы у него по-прежнему никого нет и что он зависим от нас. А может, мы просто не признавались себе, что сами попали от него в зависимость?

А потом жизнь завертелась и время ускорило

ход. Попросту говоря, у меня появилась девушка. Нет, я, конечно, и раньше с кем-то встречался, но прежние подруги либо подавляли меня излишней самоуверенностью, либо помножали свою нервозность на мою. Видимо, существует какой-то секретный мужской код, передаваемый от умудренных двадцатилетних робким восемнадцатилетним; единожды его усвоив, человек обретает способность «замутить», а если повезет, то и «перепихнуться». Но я так и не постиг, не освоил эту науку — до сих пор, как видно, ею не овладел. Мой «метод» заключался в отсутствии метода; приятели считали такой подход совершенно никчемным и, разумеется, были правы. Даже беспроигрышный, как считается, вариант «выпить — потанцевать — проводить до дому — напроситься на кофе» требовал разбитного нрава, которого у меня не было. Я вечно переминался с ноги на ногу, отпускал замысловатые реплики, а сам уже знал, что останусь на бобах. Помню, будучи первокурсником, я перебрал на какой-то вечеринке и стал клевать носом, а мимо проходила девушка, которая заботливо спросила, как я себя чувствую, и я на автомате ответил: «У меня маниакально-депрессивный психоз» — в тот момент это показалось мне более оригиналь-

ным, чем «тоска». Когда она, бросив: «И этот туда же», поспешила скрыться, я понял, что не только не сумел выделиться из толпы, но и выбрал для первого знакомства самую провальную фразу.

Мою девушку звали Вероника Мэри Элизабет Форд; чтобы выведать эту информацию (я имею в виду полное имя), мне потребовалось два месяца. Она училась на испанском отделении, увлекалась поэзией и происходила из семьи высокопоставленного чиновника. Рост — примерно метр пятьдесят пять, округлые, мускулистые икры, приглушенно-каштановые волосы до плеч, серо-голубые глаза, очки в голубой оправе, легкая, но сдержанная улыбка. Я считал ее симпатичной. Впрочем, любая девушка, которая от меня не шарахалась, скорее всего, показалась бы мне симпатичной. Я не пытался рассказывать ей, что тоскую, потому что совсем не тосковал. У нее был проигрыватель «блэк бокс» — на порядок лучше моего «дансетта», и музыкальный вкус у нее тоже был изысканней моего: то есть она презирала Дворжака и Чайковского, которыми я восхищался, зато слушала хоралы и зонги. Просматривая мою коллекцию пластинок, она время от времени изгибала губы в улыбке, но чаще хмурилась. Не спасло меня даже то, что я

своевременно убрал с глаз долой увертюру «1812 год» и саундтрек к фильму «Мужчина и женщина». На подходах к моему обширному разделу поп-музыки оставалось еще достаточно сомнительного материала: Элвис, «Битлз», «Роллинги» (ну, против этих никто не возражал), а еще «Холлиз», «Энималз», «Муди Блюз» и двойной альбом Донована под названием (с маленькой буквы) «подарок от цветка саду».

— Тебе нравятся такие вещи? — бесстрастно поинтересовалась она.

— Под них танцевать хорошо, — ответил я, слегка ощетинившись.

— Ты под них танцуешь? Здесь? В комнате? Один?

— Вообще-то нет. — Хотя именно так и было.

— А я не танцую, — изрекла Вероника тоном культуролога и вместе с тем законодательницы: на тот случай, если мы будем встречаться.

Надо пояснить, какой смысл тогда вкладывали в слово «встречаться», поскольку сегодня оно употребляется в другом значении. Недавно я разговорился с одной женщиной, чья дочь прибежала к ней в жутком расстройстве. Девушка училась на втором курсе университета и спала с молодым человеком, который — ничуть не

скрывая, в том числе и от нее, — одновременно сожительствовал с несколькими девушками. По сути дела, он устраивал им пробы, чтобы решить, с которой из них впоследствии будет «встречаться». Дочка той женщины была вне себя, но не потому, что ее возмутила такая система, хотя ей и виделась здесь определенная несправедливость, а потому, что в итоге выбор пал на другую.

Я почувствовал себя каким-то реликтом, сохранившимся от древней, забытой цивилизации, где средством денежного обмена служили фигурки из репы. В «мое время» — впрочем, в ходе нашего разговора я вовсе не претендовал на обладание временем, а сейчас тем более, — отношения складывались так: познакомился с девушкой, запал на нее, попытался произвести впечатление, пару раз привел в свою компанию — например, в паб, потом сходили куда-нибудь вдвоем, потом еще разок, и после более или менее жаркого поцелуя у парадного подъезда можно было считать, что вы, так сказать, официально «встречаетесь». И только связав себя полупубличными обязательствами, ты получал возможность узнать, светит ли тебе что-нибудь в плане секса. Зачастую оказывалось, что ее тело охраняется не менее рьяно, чем промысловая запретная зона.

Вероника мало отличалась от большинства сверстниц. Если им было с тобой комфортно, они на людях брали тебя под руку, целовались до румянца и даже могли сознательно прижаться к тебе бюстом, при условии что между вами было не менее пяти слоев одежды. Никогда не заговаривая об этом вслух, они прекрасно понимали, что творилось у тебя в штанах. А о большем следовало забыть, всерьез и надолго. Попадались, правда, и более сговорчивые: мне доводилось слышать, что некоторые соглашались на взаимную мастурбацию, а совсем уж раскованные были готовы, как тогда говорилось, на «полную близость». Всю серьезность этой «полноты» мог оценить только тот, кто прошел через изматывающий полупорожний опыт. А по мере развития близких отношений каждая сторона исподволь оказывала давление на другую: либо капризами, либо посулами и обязательствами, вплоть до того этапа, который поэт назвал «торг вокруг

кольца».[10]

Следующие поколения, вероятно, объяснят все это набожностью или ханжеством. Но все девушки — или женщины, — с которыми у меня случались, если можно так выразиться, предполовые связи (одной Вероникой дело не ограничилось), достаточно вольно распоряжались своим телом. И моим, кстати, тоже, если применять единый критерий. Я бы не сказал, что предполовые связи были безрадостными или бесплодными, разве что в буквальном смысле слова. Кроме того, эти девушки заходили гораздо дальше, чем в свое время их матери, да и я на тот момент зашел гораздо дальше своего отца. По моему разумению. И как ни крути, лучше хоть что-то, чем вообще ничего. А между тем Колин и Алекс, судя по их намекам, завели себе таких подруг, которых не волновала охрана запретных зон. Впрочем, надо учитывать, что в вопросах

---

[10] Примечания: 10

«Торг вокруг кольца» — фраза из стихотворения английского поэта, прозаика и джазового критика Филипа Ларкина (1922–1985) «Annus Mirabilis» («Год чудес»). У Ларкина «Год чудес» — это первый (причем запоздалый) сексуальный опыт лирического героя на фоне «сексуальной революции» 1960-х гг. Заглавие стихотворения позаимствовано у английского поэта XVII века Джона Драйдена, в чьем стихотворении 1667 г. описаны трагические события 1665–1666 гг., в частности Большой пожар Лондона. Как принято считать, «чудеса» заключались в том, что описанные Драйденом события повлекли за собой относительно небольшое число жертв.

секса подвирали все без исключения. И в этом плане сегодня ничего не изменилось.

Если хотите знать, я не был совсем уж девственником. Между школой и университетом я кое-чему научился, но эти два-три бурных эпизода не наложили на меня сколь-нибудь заметного отпечатка. Странное дело: чем милее девушка, чем больше тебя с ней связывает, тем меньше шансов уложить ее в постель — так мне казалось. Не исключено, конечно (правда, эту мысль я сформулировал гораздо позже), что меня тянуло именно к таким женщинам, которые говорят «нет». Но разве бывает настолько извращенная тяга?

«Ну почему, — спрашиваешь, — почему нет?» — и чувствуешь, как твою руку железной хваткой удерживают от всяких поползновений.

«Такое ощущение, что этого делать нельзя».

Подобный обмен репликами частенько возникал у жаркого камина под свист закипающего чайника. А против «ощущения» аргументов нет, ведь оно составляет прерогативу женщин, тогда как мужчины остаются толстокожими недоучками. А потому «такое ощущение, что этого делать нельзя» обладало куда большей убедительной силой и неопровержимостью, чем любая апел-

ляция к церковным канонам или материнским советам. Вы скажете: но ведь тогда уже наступили шестидесятые годы, разве не так? Так-то оно так, только не для всех и не везде.

Мои книжные полки имели у Вероники куда больший успех, чем коллекция грампластинок. Раньше книжки карманного формата приходили к читателю в униформе: издательство «Пингвин» выпускало художественную литературу в оранжевых обложках, а издательство «Пеликан» — общегуманитарную литературу в синих обложках. Преобладание синего цвета в книжном шкафу служило мерилом серьезности. Одни авторы чего стоили: Ричард Хоггарт,[11] Стивен Рансимен,[12] Хёйзинга,[13] Айзенк,[14] Эмпсон…[15] плюс «Быть честным перед Богом»

---

[11] Примечания: 11

Ричард Хоггарт (р. 1918) — видный английский социолог литературы и культуролог.

[12] Примечания: 12

Стивен Рансимен (1903–2000) — британский историк-медиевист, специалист по истории Византии.

[13] Примечания: 13

Хёйзинга, Йохан (1872–1945) — нидерландский философ, историк, культуролог.

[14] Примечания: 14

Айзенк, Ганс-Юрген (1916–1997) — британский ученый-психолог, разработавший методику измерения коэффициента интеллекта (IQ) — так называемых тестов Айзенка.

[15] Примечания: 15

Эмпсон, Уильям (1906–1984) — английский литературный критик.

епископа Джона Робинсона[16] рядом с книжечками карикатуриста Ларри.[17] Вероника сделала мне большой комплимент, решив, будто я все это прочел, и даже не заподозрила, что самые потрепанные издания куплены на книжных развалах.

Ее собственную библиотечку составляли в основном поэтические томики и брошюры: Элиот, Оден,[18] Макнис,[19] Стиви Смит,[20] Том Ганн,[21] Тед Хьюз. С ними соседствовали произведения Оруэлла и Кестлера,[22] выпущенные «Книжным клубом левых»,[23] какие-то старые романы в кожаных переплетах, две-три детские книжки с иллюстрациями Артура Рэкхема[24] и ее любимая — «Я захватила замок».[25] У меня не было ни малейшего сомнения, что она-то прочла их все до единой и что это подходящий выбор, который,

---

[16] Примечания: 16

Епископ Джон Робинсон (1919–1983) — видный деятель англиканской церкви, который в своих богословских произведениях стремился, по его словам, «расширить границы христианской мысли». Одним из его наиболее спорных трудов стала написанная в 1963 г. книга «Быть честным перед Богом» («Honest to God»).

[17] Примечания: 17

Карикатурист Ларри — Ларри Райт (р. 1940), американский политический карикатурист, в 1965–1976 гг. публиковался в газете «Детройт фри пресс», после 1976-го — в «Детройт ньюс».

[18] Примечания: 18

Оден, Уистен Хью (1907–1973) — английский поэт, оказавший значительное влияние на литературу XX века. В 1939 г. эмигрировал в США. Стихотворение Одена «Похоронный блюз» (в переводе Иосифа

Бродского, с которым Оден был дружен: «Часы останови, забудь про телефон…») получило широкую международную известность благодаря фильму «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994). В настоящее время это стихотворение звучит на похоронах в Великобритании более чем в половине случаев.

[19] Примечания: 19

Макнис, Фредерик Луис (1907–1963) — британский поэт, критик, переводчик ирландского происхождения. Дебютировал вместе с У. Оденом. Долгие годы сотрудничал с Русской службой радио Би-би-си.

[20] Примечания: 20

Стиви Смит (Флоренс Маргарет Смит, 1902–1971) — английская поэтесса и романистка. Основными темами ее стихов стали смерть, одиночество, мифы, человеческая жестокость, религия.

[21] Примечания: 21

Том Ганн (1929–2004) — англо-американский поэт, лауреат многих литературных премий, мастер поэтической формы. Основные темы его произведений — гомосексуальные отношения, богемный образ жизни.

[22] Примечания: 22

Кестлер, Артур (1905–1983) — британский прозаик и журналист, уроженец Венгрии. Написал ряд статей для Британской энциклопедии. Наиболее известен как автор романа «Слепящая тьма» (1940) о политических репрессиях в СССР. Инициатор и идеолог движения «Экзит» («Уход»), которое ратовало за право человека на добровольный уход из жизни. Кестлер, страдавший от тяжелой болезни, покончил с собой, приняв смертельную дозу снотворного.

[23] Примечания: 23

«Книжный клуб левых» — издательство, которое создал в 1935 г. Виктор Голланц в целях публикации дешевых книг, освещающих вопросы социал-демократизма и лейбористского движения.

[24] Примечания: 24

Артур Рэкхем (1867–1939) — английский художник, работавший в жанре книжной графики. Проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке («Алиса в Стране чудес», «Ветер в ивах», «Питер Пэн» и др.). Нередко наделял изображаемых персонажей чертами портретного сходства с самим собой. В 1914 г. состоялась его персональная выставка в Лувре.

[25] Примечания: 25

«Я захватила замок» (1948) — первый роман английской писательницы Дороти (также Доди, Доуди) Смит (1896–1990), перу которой принадлежит знаменитая книга «Сто один далматинец» (1956), экранизированная на киностудии Уолта Диснея в 1961 г.

помимо всего прочего, служил естественным показателем ее ума и характера, тогда как мои книги, даже с моей собственной точки зрения, выполняли совершенно иную функцию: они тщились создать образ, к которому я мог только стремиться. Это несоответствие повергло меня в легкую панику, и я, просматривая собрание поэзии, решил блеснуть высказыванием Фила Диксона.

— Разумеется, всем любопытно, что будет делать Тед Хьюз, когда исчерпает запас животных.

— Неужели всем?

— Говорят, да, — беспомощно ответил я.

В устах Диксона эта фраза звучала остроумно и тонко, а в моих — пошловато.

— У поэта, в отличие от прозаика, материал неиссякаем, — назидательно сказала она. — Потому что у них отношение к материалу разное. А ты из Теда Хьюза делаешь какого-то зоолога. Но даже зоологам животные не надоедают, ты согласен?

Вздернув одну бровь над оправой очков, она сверлила меня взглядом. Вероника была на пять месяцев старше, но иногда казалось, что на пять лет.

— Так говорил мой учитель литературы, только

и всего.

— Ну, школа уже позади, теперь мы должны учиться мыслить самостоятельно, правда?

Это «мы» вселило в меня маленькую надежду, что еще не все потеряно. Она пыталась меня перевоспитать — мне ли было сопротивляться? В день нашего знакомства она почти сразу захотела узнать, почему я ношу часы циферблатом вниз, на внутренней стороне запястья. Не сумев дать ей внятный ответ, я просто переместил часы на внешнюю сторону, и время оказалось снаружи, как у любого нормального взрослого человека.

Учился я охотно, свободное время проводил с Вероникой, потом возвращался в студенческое общежитие и у себя в комнате мастурбировал до бурного оргазма, воображая, как она распласталась подо мной или выгнулась сверху. Благодаря нашему тесному, ежедневному общению я с гордостью приобщался к хитростям макияжа и женского белья, к тонкостям депиляции, а главное — к тайнам и последствиям месячных. У меня даже возникла легкая зависть к этому регулярному, исконному напоминанию о женской сущности, о великой цикличности природы. Примерно так же напыщенно я выразился в тот день, когда попытался объяснить это чувство.

— Ты просто романтизируешь то, чего не имеешь. Единственное, что здесь можно сказать: зато тебе не грозит беременность.

Учитывая характер наших отношений, эта фраза показалось мне довольно вызывающей.

— Надеюсь, тебе тоже — мы живем не в Назарете.

Повисла одна из тех пауз, которые возникают у каждой пары и свидетельствуют о молчаливом согласии не обсуждать острый вопрос. А что тут было обсуждать? Разве только неписаные правила наших взаимных уступок. Если я не получал секса, то, с моей точки зрения, имел право рассматривать наш платонический роман как уговор, по которому женщина, выполняя свою часть обязательств, не спрашивает мужчину о перспективах их отношений. Во всяком случае, мне этот уговор виделся именно так. Но в ту пору я во многом ошибался, как, впрочем, и сейчас. Например: с чего я взял, что она — девственница? Напрямую я не спрашивал, а она держала язык за зубами. Мое убеждение основывалось на том, что она мне отказывала, — и где же, спрашивается, логика?

На каникулах я получил приглашение съездить на выходные к ее родителям. Жили они в

Кенте, на орпингтонском направлении, в одном из тех предместий, которые в последнюю минуту прекратили заливать природу бетоном и с тех пор самодовольно объявляли себя загородной местностью. В поезде, отходившем от вокзала Черинг-Кросс, меня терзала мысль, что со своим огромным чемоданом — другого у меня попросту не было — я выгляжу как собравшийся на дело грабитель. По прибытии Вероника представила меня своему отцу, который открыл багажник автомобиля и хохотнул, взяв у меня чемодан:

— Не иначе как обосноваться у нас решили, молодой человек.

Этот рослый краснолицый толстяк вызывал у меня неприязнь. Не потому ли, что от него пахло пивом? В такой ранний час? Как такой громила мог стать отцом столь миниатюрной дочери?

Управляя своим дорогущим «хамбер-суперснайпом», он только вздыхал, досадуя на всех идиотов-водителей. Я в одиночестве сидел сзади. Время от времени он тыкал куда-то пальцем — видимо, показывал мне места, достойные внимания, но я не знал, что отвечать. «Церковь Святого Михаила, кирпично-каменная, сильно облагорожена реставраторами Викторианской эпохи». «Наше излюбленное „Кафе Ройяль“ —

вуаля!» «Справа фахверковый дом — винный магазин». Я обратился за подсказкой к профилю Вероники, но увы. У них был краснокирпичный особняк, украшенный изразцами; к дому вела гравиевая дорожка. Мистер Форд распахнул парадную дверь и прокричал в пустоту:

— Этот юноша к нам на месяц!

Мне бросился в глаза густой глянец темной мебели и такой же густой глянец на листьях экзотического комнатного растения. Словно по древним законам гостеприимства, отец Вероники подхватил мой чемодан, оттащил его, притворно сгибаясь под воображаемой тяжестью, в мансарду и швырнул на кровать. А потом указал на маленькую комнатную раковину:

— Если ночью приспичит, можешь сюда отлить.

Я молча кивнул. Мне было непонятно, строит он из себя рубаху-парня или показывает, какое я ничтожество и плебей.

Брат Вероники, Джек, особой загадки не представлял: здоровяк-спортсмен, смеялся по поводу и без повода, поддразнивал младшую сестру. Ко мне он отнесся со сдержанным любопытством, как будто я был отнюдь не первым, кого сюда привозили на показ. Мать Вероники не обращала

внимания на эти подковерные игры: она расспросила меня про учебу и побежала на кухню. На вид ей было слегка за сорок, но этот возраст казался мне в то время весьма почтенным, как и возраст ее мужа. Вероника мало походила на свою мать: та была выше среднего роста, с округлыми чертами лица и перехваченными лентой волосами, открывавшими широкий лоб. Что-то выдавало в ней художественную натуру: то ли яркие палантины, то ли артистическая рассеянность, то ли мурлыканье оперных арий — теперь уже и не вспомнить.

На нервной почве у меня случился жуткий запор — это мое основное и самое достоверное воспоминание. Остальное — лишь расплывчатые, обрывочные впечатления, которые, вполне возможно, додуманы позднее: например, как Вероника, которая сама же притащила меня в родительский дом, вначале примкнула к своим родным и вместе с ними устроила мне смотрины, хотя сейчас уже не определить, стало это причиной или следствием моей робости. За ужином в пятницу началась проверка моего социального и интеллектуального уровня; я чувствовал себя как на допросе. Потом мы смотрели новости и натянуто обсуждали международное положение,

пока не пришло время ложиться спать. Будь мы героями романа, отец семейства запер бы входную дверь, а потом кое-кто прокрался бы по лестнице, чтобы попасть в жаркие объятия. Но нет; Вероника даже не поцеловала меня на ночь, даже не сделала вид, что собирается проверить, есть ли у меня в комнате полотенца и все прочее. Видно, боялась насмешек брата. Деваться было некуда: я разделся, ополоснулся, пустил мстительную струю в комнатную раковину, надел пижаму и долго маялся без сна.

Когда я спустился к завтраку, оказалось, что дома нет никого, кроме миссис Форд. Остальные ушли на прогулку — Вероника убедила родных, что с утра я люблю поваляться в постели. Наверное, я не сумел должным образом скрыть свою реакцию: миссис Форд все время косилась в мою сторону, пока готовила еду, и оттого бекон обжарился неровно, а один яичный желток растекся по сковороде. У меня не было опыта беседы с матерями девушек.

— Давно вы здесь живете? — выдавил я, помолчав, хотя ответ был мне хорошо известен.

Она выдержала паузу, налила себе чаю, выпустила на сковороду еще одно яйцо, прислонилась к серванту с тарелками и сказала:

— Не потакай Веронике.

Я опешил. Что это было: оскорбительное вмешательство в наши отношения или призыв к доверительному «обсуждению» Вероники? От растерянности я лишь спросил чопорным тоном:

— Что вы имеете в виду, миссис Форд?

Она улыбнулась мне без тени снисходительности, едва заметно покачала головой и ответила:

— Мы здесь живем десять лет.

Теперь она вызывала у меня почти такое же недоумение, как и ее домочадцы, но, по крайней мере, держалась приветливо. Она положила мне добавку яичницы-глазуньи, хотя я больше не хотел и не просил. Растекшийся желток остался на сковороде; миссис Форд небрежно смахнула его в мусорное ведро, а затем плюхнула раскаленную сковородку в мокрую раковину. Вода зашипела, повалил пар, и миссис Форд рассмеялась, как будто осталась довольна этим небольшим кухонным происшествием.

Когда Вероника в сопровождении папаши и брата пришла с прогулки, я ожидал продолжения смотрин, а то и какого-нибудь нового подвоха или розыгрыша, но вместо этого услышал вежливые вопросы: как спалось, удобная ли комната. По идее, я мог бы заключить, что меня уже держат

за своего, но впечатление было такое, будто я им уже осточертел и они ждут не дождутся, чтобы выходные поскорей закончились. Возможно, у меня начиналась паранойя. Но был и положительный момент: Вероника стала более открыто проявлять свою теплоту, а за чаем даже положила руку мне на локоть и довольно поиграла моей шевелюрой. А потом повернулась к брату и спросила:

— Как по-твоему, этот подойдет?

Джек мне подмигнул; я не смог ответить ему тем же. У меня возникло такое чувство, будто меня застукали за кражей полотенец или за порчей ковра.

А в остальном все шло более или менее гладко. Перед сном Вероника проводила меня в мансарду и наградила страстными поцелуями. В воскресенье на обед подали жареную баранью ногу, из которой торчали гигантские пучки розмарина, делавшие ее похожей на рождественскую елку. Поскольку родители привили мне вежливость, я сказал, что баранина просто великолепна. И тут же заметил, как Джек подмигнул отцу, словно говоря: «Ну и лох!» Однако мистер Форд, хохотнув, изрек: «Все правильно, поддерживаю предыдущего оратора», а миссис Форд меня поблагодарила.

Когда перед отъездом я спустился вниз, чтобы попрощаться, мистер Форд выхватил у меня чемодан и обратился к жене:

— Надеюсь, дорогая, ты пересчитала серебряные ложки?

Она не стала отвечать и только улыбнулась мне почти заговорщической улыбкой. Братец Джек попрощаться не вышел; Вероника с отцом уселись на переднее сиденье, а я опять на заднее. Миссис Форд стояла у крыльца под освещенной солнцем глицинией. Когда мистер Форд включил передачу и колеса зашуршали по гравию, я на прощанье помахал, и миссис Форд тоже помахала, но не поднятой ладонью, а каким-то странным жестом в горизонтальной плоскости, на уровне талии. Тут я пожалел, что не выведал у нее никаких подробностей.

Чтобы избавить себя от повторного обзора местных чудес по указке мистера Форда, я сказал Веронике:

— Мне очень понравилась твоя мама.

— Похоже, у тебя есть повод для ревности, Врон. — Мистер Форд театрально ахнул. — А если вдуматься, и у меня тоже. Стреляемся на рассвете, мой юный друг?

Мой поезд опоздал из-за воскресных ремонт-

ных работ. Дома я оказался уже к вечеру. Помню, как я наконец-то хорошо просрался.

Через неделю с небольшим Вероника приехала в город, чтобы познакомиться с моей школьной компашкой. День прошел как-то бесцельно; ни она, ни я не хотели брать инициативу на себя. Побродили по галерее Тейт, дошли до Букингемского дворца, потом двинулись через Гайд-парк, чтобы посетить Уголок ораторов. Ораторов на привычном месте не оказалось; тогда мы потащились на Оксфорд-стрит, поглазели там на витрины модных магазинов и оказались на Трафальгарской площади, среди львов. Со стороны нас можно было принять за туристов.

Вначале я исподволь наблюдал, как реагируют на нее мои друзья, но потом мне стало интереснее, что она сама о них думает. Шуткам Колина она смеялась охотнее, чем моим, и мне, естественно, это не понравилось, а потом в лоб спросила Алекса, на чем его папаша сколотил свое состояние (к моему удивлению, он ответил: «На страховании морских перевозок»). Адриана, похоже, она не без удовольствия оставила на десерт. Я ей рассказывал, что он учится в Кембридже, и она для проверки назвала ему несколько имен. Два-три он подтвердил кивком и сказал:

— Да, знаю я эту братию.

Мне это показалось хамством, но Вероника не обиделась. Наоборот, она стала сыпать названиями колледжей и фамилиями профессуры, упомянула несколько студенческих кафе, и я вообще остался не у дел.

— Откуда ты все это знаешь? — удивился я.

— Там Джек учится.

— Джек?

— Мой брат — ты что, забыл?

— Погоди, это который — тот, что помладше твоего отца?

Вроде получилось остроумно, однако Вероника даже не улыбнулась.

— И что же он там изучает? — спросил я, чтобы закрепить отвоеванные позиции.

— Теорию этики, — ответила она. — Как и Адриан.

«Вот спасибо, что сказала, а то я не знал, чем Адриан там занимается», — вертелось у меня на языке. Но я лишь насупился и заговорил с Колином о кинематографе.

Под конец мы стали фотографироваться; Вероника попросила, чтобы я «щелкнул ее со своими друзьями». Они вежливо выстроились в ряд, после чего Вероника их перегруппировала: са-

мых рослых, Адриана и Колина, поставила по бокам от себя, задвинув Алекса за Колина. На фотографии она получилась еще более миниатюрной, чем в жизни. Много лет спустя, когда я разглядывал этот снимок в поисках некоторых ответов, мне пришло в голову, что она никогда не носила туфли на каблуках. Где-то я читал, что для привлечения внимания слушателей к своей речи нужно не повышать голос, а наоборот понижать, — на самом деле именно это и подогревает интерес. Очевидно, Вероника пошла на такую же хитрость, только в отношении роста. Впрочем, я до сих пор не решил, способна ли она на хитрость. Когда мы с ней встречались, она была сама непосредственность. У меня просто не укладывалось в голове, что женщины могут быть такими корыстными. Наверное, это больше говорит обо мне, чем о ней. Но если бы я себя убедил — хотя бы теперь, спустя годы, — что она все делала по расчету, от этого было бы мало толку. То есть мне бы это все равно не помогло.

Мы всей компанией проводили ее пешком до вокзала Черинг-Кросс, посадили в поезд на Чизлхерст и шутливо выстроились в почетный караул, будто путь ее лежал по меньшей мере в Самарканд. Потом мы завалились в привокзаль-

ную гостиницу, взяли в баре по кружке пива и ощутили себя очень взрослыми.

— Миленькая девушка, — сказал Колин.

— Очень миленькая, — подтвердил Алекс.

— С философской точки зрения это самоочевидно! — почти выкрикнул я.

Волнение сказывалось. Я повернулся к Адриану:

— Что скажешь в развитие темы «очень миленькая»?

— Не ждешь ли ты поздравлений, Энтони?

— А у тебя что, язык отвалится?

— Раз так — естественно, поздравляю.

Но похоже, ему претило, что я напрашиваюсь на похвалу, а двое других мне потакают. Я слегка задергался — не хотелось, чтобы такой день пошел насмарку. Впрочем, задним числом понимаю: это не день трещал по швам, а наш тесный круг.

— Стало быть, ты знаешь Братца Джека по Кембриджу?

— Нет, не знаю, и вряд ли мы с ним пересечемся. Он уже на последнем курсе. Но я наслышан — читал о нем статью в одном журнале. О нем и о его окружении, да.

Он явно хотел замять эту тему, но я не отста-

вал.

— И что ты о нем думаешь?

Адриан умолк. Отпил чуток пива, а потом выпалил с неожиданной яростью:

— Терпеть не могу эту английскую манеру ерничать по поводу серьезных вещей. Просто не перевариваю.

В другой ситуации я бы воспринял это как выпад против нас троих. Но тогда я чуть не начал оправдываться.

На втором курсе мы с Вероникой продолжали встречаться. Как-то вечером она, не иначе как слегка захмелев, разрешила мне запустить руку ей в трусики. Я раздувался от гордости, подобравшись к заветной цели. Впустить внутрь мой палец она отказалась, но через пару дней мы без слов нашли способ продлить удовольствие. Сливаясь в поцелуе, мы опускались на пол. Я снимал часы, закатывал левый рукав и прижимал тыльную сторону ладони к полу, а Вероника терлась о мое неподвижное запястье, пока не достигала кульминации. Неделю-другую я чувствовал себя весьма искушенным, но, возвращаясь к себе в комнату и удовлетворяя себя в одиночестве, испытывал нарастающую досаду. Где же здесь взаимные уступки? Что я выиграл и что проиг-

рал? И еще одно открытие не давало мне покоя: вроде мы должны были стать ближе, но ничуть не бывало.

— Ты когда-нибудь задумываешься, в каком направлении будут развиваться наши отношения?

Этот вопрос Вероника задала без повода, с бухты-барахты. Она забежала ко мне на чашку чаю и принесла нарезанный ломтиками кекс с изюмом.

— А ты?

— Я первая спросила.

У меня вертелось на языке (наверное, это не слишком галантно): «Ты для этого разрешила мне залезть к тебе в трусы?»

— А они обязательно должны развиваться в каком-нибудь направлении?

— Как и любые отношения, разве нет?

— Не знаю. У меня мало опыта.

— Послушай, Тони, я не собираюсь загнивать.

Я призадумался; во всяком случае, попытался. Но перед глазами возникал только пруд с застойной водой, толстый слой мусора и столб комаров. Не давались мне такие дискуссии.

— По-твоему, мы загниваем?

Она нервно вздернула бровь над оправой очков; эта привычка больше не вызывала у меня

такой нежности, как раньше. Я продолжал:

— Разве есть только эти две возможности: либо загнивать, либо двигаться в определенном направлении?

— А какие еще?

— Приятно проводить время, наслаждаться сегодняшним днем и все такое. — Я это сказал — и тут же усомнился, что по-прежнему наслаждаюсь сегодняшним днем. И еще подумал: чего она добивается?

— Как по-твоему, мы с тобой подходим друг другу?

— Ты все время задаешь вопросы, а сама как будто уже знаешь ответы. Или заранее решила, что именно хочешь услышать. Ты выскажи свое мнение, а я отвечу, совпадает оно с моим или нет.

— Да ты, я вижу, трусоват, верно, Тони?

— Ну, я скорее… бесконфликтный.

— Что ж, не буду разрушать твой идеальный образ.

Мы допили чай. Оставшиеся ломтики кекса я завернул в целлофан и убрал в жестяную банку. Вероника чмокнула меня в уголок рта и ушла. В моем понимании, это было началом конца наших отношений. Или я намеренно запечатлел

этот случай в памяти именно таким образом, чтобы перевести стрелки? Заставь меня ответить под присягой, что именно произошло и что было сказано, я бы с уверенностью назвал только три слова: «направление», «загнивать» и «бесконфликтный». Прежде я не считал себя бесконфликтным — или, наоборот, конфликтным. Да, вот еще что: я мог бы поклясться под присягой в истинности жестянки из-под печенья — она была винно-красного цвета, с улыбающимся профилем королевы на крышке.

Не хочу создавать впечатление, будто в Бристоле я только и делал, что корпел над книгами и встречался с Вероникой. Но все остальное как-то не вспоминается. Разве что одно-единственное, стоявшее особняком явление — приливная волна на реке Северн. В местной газете публиковался прогноз — когда и где ее лучше всего застать. Когда я впервые отправился посмотреть на этот природный аттракцион, вода отказалась следовать графику. Но со второй попытки, когда вместе с толпой наблюдателей я до полуночи простоял на берегу в Минстеруорте, мы наконец-то были вознаграждены. Час-другой река спокойно текла мимо нас к морю, как и положено любой приличной реке. К неверному свету луны то и дело

добавлялись вспышки мощных прожекторов. А затем по толпе пробежал шепот, все шеи дружно вытянулись, а мысли о сырости и холоде улетучились, потому что река в какой-то миг передумала и повернула вбок, вздыбившись по всей ширине волной в два-три фута, которая прокатилась от одного берега до другого. Поравнявшись с нами, она изогнулась и стала уходить вдаль; кое-кто пустился в погоню; люди спотыкались и падали с криками и бранью, потому что волна оказалась быстрее; я остался на берегу в одиночестве. Невозможно выразить словами, что я пережил. Казалось бы, не ураган, не землетрясение (хотя ни того ни другого я не видел), когда природа показывает свою неистовую разрушительную силу, чтобы мы знали свое место. Но это явление было еще тревожней, потому что оно молчаливо попирало все законы природы, словно где-то во вселенной дернули маленький рычажок и в считаные минуты у меня на глазах бытие — а вместе с ним и время — изменило свой ход. Этот феномен я увидел ночью, отчего он стал еще более загадочным, каким-то потусторонним.

После того как мы расстались, она со мной переспала.

Нет, все понятно. Вы, наверное, сейчас подума-

ли: вот ботаник несчастный, разве он не видел, к чему идет? Представьте, не видел. Я думал, что между нами все кончено; думал, что у меня уже есть другая девушка (нормального роста, носившая выходные туфельки на высоком каблуке). Не прозрел я и позже: когда столкнулся с Вероникой в пабе (при ее нелюбви к пабам), когда она попросила ее проводить, когда остановилась на полпути к своему дому и мы стали целоваться, когда мы вошли к ней в комнату и я включил свет, который она тут же выключила, когда она сама сняла трусики и протянула мне упаковку «дюрекс фезерлайт», когда выхватила презерватив из моих трясущихся рук и сама мне его надела, и даже когда мы торопливо совершали положенные телодвижения.

Что ж, можете еще раз повторить: ботаник ты несчастный. Она тебе натягивала резинку на член, а ты все еще думал, что она девственница? Как ни странно, да, хотите верьте, хотите нет. Мне казалось, ею руководила чисто женская интуиция, которой у меня, естественно, не было. Нужно ведь и такое допускать, правда?

— Когда будешь вынимать, придерживай, — шепнула она (уж не потому ли, что считала *меня* девственником?).

Потом я встал и пошлепал в ванную, а кондом с увесистым содержимым болтался у меня между ног. Когда я наконец от него избавился, у меня созрело решение и окончательное заключение, которое гласило: нет и еще раз нет.

— Ах ты, эгоист проклятый, — сказала она при следующей встрече.

— Ну да, есть такой момент.

— Это почти что изнасилование.

— Ничего похожего.

— Мог бы из вежливости предупредить заранее.

— Заранее я не знал.

— Ох, неужели было настолько плохо?

— Ну почему же, все было хорошо. Просто…

— «Просто» что?

— Ты всегда хотела, чтобы я обдумал наши отношения, — теперь я, похоже, это сделал. Обдумал.

— Браво. Наверное, голову сломал.

Тут я подумал: а ведь я за все время ни разу не видел ее грудь. Щупал, да, но ни разу не видел. И еще: она категорически не права насчет Дворжака и Чайковского. Более того, я теперь смогу хоть до посинения крутить музыку из фильма «Мужчина и женщина». Не таясь.

— Что, прости?

— Господи, Тони, ты даже сейчас где-то витаешь. Прав был мой брат.

Ясно, что от меня ожидался вопрос: что же сказал Братец Джек, но я не доставил ей такого удовольствия. Поскольку я молчал, она продолжила:

— И не произноси эту фразу.

Жизнь определенно подкидывала мне загадки — одну за другой.

— Какую фразу?

— Что мы можем остаться друзьями.

— Разве полагается это говорить?

— Полагается говорить то, что думаешь, то, что чувствуешь, да, в конце концов, то, что у тебя на уме.

— Ладно. Тогда я лучше промолчу. Потому как сильно сомневаюсь, что мы сможем остаться друзьями.

— Хвалю, — саркастически произнесла она. — Хвалю.

— А можно теперь я задам вопрос? Ты переспала со мной для того, чтобы меня вернуть?

— Я больше не обязана отвечать на твои вопросы.

— Тогда почему ты мне отказывала, когда мы встречались?

Ответа не последовало.

— У тебя не было потребности?

— А может, у меня не было желания.

— Наверное, желания не было потому, что не было потребности.

— Считай как хочешь.

На следующий день я взял молочник, подаренный мне Вероникой, и отнес его в благотворительный магазин «Оксфам». Надеялся, что она увидит его в витрине. Но когда я остановился, чтобы проверить, там ли он, мне в глаза бросилось нечто другое: маленькая цветная литография с видом Чизлхерста, которую я подарил ей на Рождество.

Хорошо еще, что мы учились на разных факультетах, а Бристоль — достаточно большой город, чтобы без надобности не сталкиваться лицом к лицу. Когда же это все-таки случалось, меня охватывало чувство, которое я могу назвать только предкомплексом вины: это было ожидание каких-нибудь ее слов или действий, способных вызвать у меня настоящий комплекс вины. Но она не снисходила до разговоров, и это опасение постепенно развеялось. К тому же я внушил себе, что никакой вины за мной нет: мы, практически взрослые люди, ответственные за свои поступки,

добровольно установили между собой определенные отношения, за которыми последовал разрыв. Никто не забеременел, никто не умер.

На второй неделе каникул мне пришло письмо: судя по штемпелю, из Чизлхерста. Я изучил незнакомый — с завитушками, слегка небрежный — почерк на конверте. Женская рука: по всей видимости, мать Вероники. Очередной всплеск предкомплекса вины: не иначе как Вероника перенесла нервный срыв, совсем зачахла и ходит бледной тенью. Или погибает в больнице от перитонита и умоляет, чтобы я навестил ее на смертном одре. Или… Впрочем, даже мне было ясно, что это не более чем фантазии воспаленного самомнения. Действительно, это письмо, которое оказалось кратким и, к моему удивлению, отнюдь не обличительным, прислала мать Вероники. Она сожалела о нашем разрыве и выражала уверенность, что я найду себе более достойную пару. Я не усмотрел в этом ни намека на то, что такой негодяй, как я, заслуживает столь же низкой, безнравственной стервы. Наоборот, между строк читалось совсем другое: я ни при чем и она меня не винит. Жаль, что у меня не сохранилось то письмо: оно могло бы послужить доказательством, подтверждением. А так единственным

свидетельством остаются мои воспоминания о беспечной и довольно стильной женщине, которая разлила по сковороде яичный желток, тут же поджарила для меня другой и предупредила, чтобы я не связывался с ее дочкой.

В Бристоль я вернулся студентом последнего курса. Тут выяснилось, что девушка нормального роста, ходившая на каблучках, интересуется мною куда меньше, чем казалось прежде, а потому я сосредоточился на учебе. Не переоценивая свои умственные способности, я понимал, что диплом с отличием мне не светит, но твердо решил набрать два к одному. По пятницам я давал себе отдых — проводил вечера в пабе. Как-то разговорился с девушкой, привел ее к себе, и она осталась на ночь. Все удалось как нельзя лучше, с приятной долей возбуждения, но после этого мы больше не искали встреч. Тогда я не ломал голову над этим вопросом — не то что сейчас. Думаю, молодое поколение — и тогдашнее, и нынешнее — не узрело бы ничего особенного в такой форме досуга. Тем более что «тогдашнее» — это поколение шестидесятых, верно? Так-то оно так, но я уже сказал: все зависело от того, кто ты есть и где живешь. Если не возражаете — краткая историческая справка: для многих «шестидесятые»

начались только в семидесятые годы. А отсюда, по логике, следует, что большинство людей в шестидесятые годы еще оставалось в пятидесятых или, как в моем случае, между двух стульев. Отсюда проистекали всякие недоразумения.

По логике — да, но где тут логика? Где, например, ее искать в следующем эпизоде моего рассказа? Примерно в середине учебного года я получил письмо от Адриана. В то время мы переписывались довольно редко, потому что всерьез готовились к выпускным экзаменам. Он, разумеется, шел на диплом с отличием. А дальше? Наверное, магистратура, потом преподавательская должность или общественно-политическая деятельность, где его мозги и скрупулезность будут востребованы в полной мере. От кого-то я слышал, что государственная служба, особенно в высших эшелонах власти, — чрезвычайно увлекательное занятие, постоянно требующее решения морально-этических вопросов. Наверное, Адриану бы такое подошло. Я не мог его вообразить ни приземленным прагматиком, ни авантюристом — разве что гипотетически. Он был не из тех, кто стремится засветить свое лицо или имя в газетах.

Вы уже, вероятно, догадались, что я тяну вре-

мя перед тем, как продолжить. Ну чего уж там: Адриан написал, что обращается ко мне за разрешением встречаться с Вероникой.

Да-да, но почему именно с ней, почему именно в тот момент; и вообще, почему нужно спрашивать разрешения?

На самом деле, если оставаться по возможности верным своей памяти (это письмо у меня тоже не сохранилось), сказал он буквально следующее: они с Вероникой уже встречаются, и до меня рано или поздно дойдут слухи, а потому будет лучше, если я узнаю об этом от него. Далее, хотя эта весть, скорее всего, меня удивит, он надеется, что я смогу ее понять и принять, потому что в противном случае он вынужден будет во имя нашей дружбы пересмотреть свои решения и поступки. И последнее: Вероника тоже согласилась, что написать такое письмо просто необходимо; более того, это была отчасти ее идея.

Как нетрудно догадаться, меня особенно подкупил пассаж о верности нравственным принципам, из которого следовало, что стоит мне только заявить о нарушении некоего освященного веками рыцарского кодекса чести, а еще лучше — какого-нибудь современного нравственного постулата, как Адриан, естественно и логично,

тут же прекратит ее пялить. Если, конечно, она не водила его за нос, как меня. Восхищало и лицемерие, с которым мне не просто поведали то, чего я бы никогда не узнал (а если б и узнал, то когда-нибудь потом), но и указали, на кого Вероника меня променяла: на самого блестящего из моих друзей, на кембриджского умника, не уступавшего Братцу Джеку. Вдобавок мне дали понять, что, надумай я приехать повидаться с Адрианом, она будет ошиваться рядом, — и это предупреждение возымело желаемый эффект, потому что у меня тут же пропала охота видеть Адриана. Неплохо придумано, и наверняка за один день или за одну ночь. Опять же подчеркну, что это мое сегодняшнее прочтение тогдашних известий. Вернее, это то, что моя память на сегодняшний день сохранила от тогдашнего прочтения известий того времени.

Но я считаю, что у меня развит инстинкт выживания, или самосохранения. Очевидно, тот самый, что Вероника назвала трусостью, а я — бесконфликтностью. Во всяком случае, что-то подсказало мне не ввязываться, хотя бы до поры до времени. Я взял первую попавшуюся открытку — с видом подвесного моста в Клифтоне — и написал что-то в таком духе: «Сим подтверждая

получение Вашей эпистолы от 21-го числа, нижеподписавшийся покорно просит принять его поздравления и желает засвидетельствовать, что возражений у него нет, дружище». Глупо, но предельно ясно; на тот момент сгодилось. Я решил делать вид (особенно перед самим собой), что ничего не имею против. Сосредоточусь на учебе, заблокирую эмоции, пошлю подальше девушек из паба, буду по мере надобности мастурбировать и брошу все силы на получение заслуженных баллов. Так я и сделал (набрал, кстати, два к одному).

Сдав выпускные экзамены, я остался еще недели на три, влился в новую компанию, регулярно выпивал, покуривал дурь и ничего не брал в голову. Разве что пытался вообразить, что еще Вероника могла наплести про меня Адриану. («Он лишил меня девственности и сразу бросил. Это было почти как изнасилование, понимаешь?») Пытался вообразить, как она увивается вокруг него — это начиналось у меня на глазах — и как льстит, потакая его самолюбию. Как я уже говорил, Адриан, при всех своих академических успехах, не был человеком практического склада. Отсюда — резонерский тон его письма, которое я, ропща на свою судьбу, перечитывал

раз за разом. Наконец я созрел, чтобы написать ему нормальный ответ, без всяких эпистолярных закидонов. Насколько мне помнится, я открытым текстом высказал ему почти все, что думал об их с ней общих моральных принципах. Посоветовал ему быть осмотрительным, так как, по моему разумению, Вероника понесла ущерб много лет назад. В заключение я пожелал ему удачи, сжег его письмо в пустом камине (театральный жест, я согласен, но прошу учесть мою молодость в качестве смягчающего обстоятельства) и решил навсегда вычеркнуть эту парочку из своей жизни.

Какого рода «ущерб» я имел в виду? Это была всего лишь догадка; никаких веских доказательств я привести не мог. Но, оглядываясь на те злополучные выходные, я понимал: дело не в том, что наивный паренек стушевался рядом с более светскими, искушенными личностями. Хотя и это сыграло не последнюю роль. Но главное — я нутром чувствовал какой-то заговор между Вероникой и ее неуклюжим, властным отцом, который обращался со мной как с дебилом. А также между Вероникой и Братцем Джеком, чья жизнь и манера поведения, совершенно очевидно, казались ей верхом совершенства: она словно

назначила его верховным судьей, когда прилюдно спросила — и этот вопрос при каждом повторе звучит все более презрительно: «Как по-твоему, этот подойдет?» А с другой стороны, я не видел никаких признаков заговора между Вероникой и ее матерью, которая, несомненно, видела ее насквозь. Как миссис Форд нашла возможность предостеречь меня по поводу своей дочки? Очень просто: в то утро, на следующий день после моего приезда, Вероника объявила родным, что я люблю поваляться в постели, и ушла из дому с отцом и братом. Никогда в наших с ней разговорах даже намека не было на такую мою привычку. Я никогда не любил валяться в постели. И даже сейчас этого не выношу.

Затрудняюсь сказать, какой смысл я вкладывал в слово «ущерб», когда писал Адриану. Если я в последующие годы и прояснил для себя этот вопрос, то лишь в малой степени. Моя теща (слава богу, не имевшая никакого отношения к тем событиям) тоже была обо мне невысокого мнения, но, по крайней мере, говорила об этом откровенно, как, впрочем, и обо всем другом. Как-то раз, когда пресса и телевидение наперебой обсуждали очередной случай жестокого обращения с детьми, она сказала: «На мой взгляд, все мы через это

прошли». Уж не веду ли я к тому, что Вероника была, как сегодня принято говорить, жертвой «ненадлежащего обращения»: плотоядных сальностей хмельного отца, который ее купал или укладывал спать, или более чем родственных нежностей брата? Как знать? Пережила ли она одномоментную утрату, отвернулись ли от нее близкие, когда она больше всего нуждалась в любви, подслушала ли она в детстве какой-то разговор, из которого заключила, что...? Опять же не могу знать. Ни документальных, ни даже спекулятивных подтверждений у меня нет. Вспоминаю, что сказал старина Джо Хант, когда дискутировал с Адрианом: «Поступки человека зачастую выдают его душевное состояние». Это касается истории — Генриха Восьмого и ему подобных. А в повседневной жизни, на мой взгляд, справедливо как раз обратное: нынешнее душевное состояние позволяет судить о прошлых поступках.

Конечно, я согласен, что всем нам в той или иной мере наносится ущерб. Может ли быть иначе — разве что в придуманном мире идеальных родителей, братьев и сестер, соседей и приятелей? И тут возникает вопрос, от решения которого зависит многое: как мы реагируем на

причиненный ущерб, то есть принимаем или подавляем, и как он сказывается на наших отношениях с окружающими? Одни, притерпевшись, стараются смягчить этот ущерб, другие кладут жизнь на то, чтобы помочь другим, попавшим в сходную ситуацию, а третьи всеми силами стараются сделать так, чтобы с ними никогда больше не произошло ничего похожего. Эти последние — беспощадны, от них лучше держаться подальше.

Вы, наверное, думаете, что это чушь, ханжеская чушь, рассчитанная на самооправдание. Полагаете, наверное, что я поступил с Вероникой как типичный желторотый юнец и что все мои «суждения» обратимы. Например: «После того как мы расстались, она со мной переспала» легко трансформируется в «После того как она со мной переспала, я с ней расстался». И еще вы, наверное, решили, что семейство Форд — нормальные представители английского среднего класса, на которых я с досады проецировал надуманные теории ущерба; и что миссис Форд вовсе не собиралась тактично удерживать меня от опрометчивых шагов, а низменно приревновала к родной дочери. Не удивлюсь, если вы попросите, чтобы я примерил свою «теорию» на себя и объяснил, какой ущерб я понес много лет назад и с

какими возможными последствиями: например, не сказался ли этот ущерб на моей надежности и правдивости? Честно говоря, сам не знаю, как на это ответить.

Никакого отклика от Адриана я не ожидал — и не получил. Теперь уже и перспектива встречи с Колином и Алексом выглядела менее заманчивой. Если вначале нас было трое, а потом стало четверо, оставалась ли возможность вернуться к троице? Надумай они сколотить свою компанию без меня — отлично, вперед. А мне нужно было налаживать собственную жизнь. Чем я и занялся.

Некоторые из моих сверстников поступили на добровольческую службу и уехали в Африку, чтобы учить детишек и возводить глинобитные стены; у меня не было столь благородных устремлений. А вдобавок в ту пору как-то подразумевалось, что хороший диплом рано или поздно обеспечит тебе хорошую работу. «Время на моей стороне, да, это так», — подпевал я Мику Джаггеру,[26] кружась в одиночестве по своей

[26] Примечания: 26

«Время на моей стороне, да, это так», — подпевал я Мику Джаггеру… — «Time Is on My Side» — сингл Rolling Stones, выпущенный в сентябре 1964 г., авторы песни Джерри Раговой (под псевдонимом Норман Мид) и Джимми Норман.

студенческой комнате. Итак, предоставив другим доучиваться на врачей и юристов или сдавать экзамены для поступления на государственную службу, я умотал в Штаты и полгода кочевал по стране. Подрабатывал официантом, красил заборы, выполнял садовые работы, перегонял автомобили из одного штата в другой. Когда еще не было ни мобильных телефонов, ни электронной почты, ни «скайпа», путешественники полагались на элементарное средство связи под названием «почтовая открытка». Другие средства, как то: междугородный телефон и телеграмма, несли на себе клеймо «Только Для Экстренных Случаев». Поэтому родителям пришлось отпустить меня в неизвестность, а потом делиться со знакомыми скупой информацией о моих передвижениях: «Да, добрался благополучно», «В прошлый раз написал из Орегона», «Ждем его примерно через месяц». Не берусь утверждать, что это было очень хорошо и уж тем более — что благотворно влияло на становление характера, но мне лично пошло на пользу, что родители не могли связаться со мной одним нажатием кнопки, чтобы излить на меня свои тревоги, зачитать долгосрочный прогноз погоды, предостеречь от наводнений, эпидемий и маньяков, которые подстерегают

человека с рюкзаком.

В поездке я познакомился с одной девушкой, звали ее Энни. Она была американкой и тоже путешествовала по стране. Мы с ней, как она говорила, «зацепились» и три месяца провели вместе. У нее были серо-зеленые глаза и дружелюбная манера поведения; ходила она в неизменной ковбойке; сошлись мы легко и быстро; я не верил своей удаче. Не верил и простоте таких отношений: подружиться, сблизиться, вместе смеяться, выпивать, покуривать травку, колесить по дорогам — а потом расстаться без взаимных упреков и без угрызений совести. «Как пришло, так и ушло», — говорила она, ничуть не кривя душой. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, не претила ли мне подобная легкость, не хотелось ли чего-нибудь более весомого в доказательство… чего? Глубины, серьезности? Хотя, бог свидетель, бывает, что на тебя сыплются сложности и трудности, которые не сулят никакой компенсации в виде глубины и серьезности. Намного позже я задумался и о другом: «Как пришло, так и ушло» — не содержался ли здесь косвенный вопрос, подразумевавший конкретный ответ, которого у меня не было? Но это так, к слову. Энни занимала определенное место в моей жизни, но не в этой

истории.

Когда это стряслось, отец с матерью захотели со мной связаться, но не знали, где меня искать. В случае крайней необходимости — например, когда человек должен проститься с умирающей матерью — Форин-офис, вероятно, извещает наше посольство в Вашингтоне, а оттуда поступает запрос в правительственные структуры, которые готовы поставить на уши всю полицию, чтобы срочно найти бесшабашного, загорелого англичанина, чуть более самоуверенного, нежели при пересечении границы. Сегодня такие проблемы решаются одним текстовым сообщением.

Когда я вернулся домой, мама обняла меня сдержанно и, отворачивая напудренное лицо, отправила принимать ванну, а сама приготовила ужин, который по старой привычке называла «моим любимым», а я не спорил, так как давно не просвещал ее на предмет своих вкусовых рецепторов. После ужина она протянула мне весьма немногочисленные письма, доставленные в мое отсутствие.

— Советую тебе начать с этих двух.

В самом верхнем конверте была записка от Алекса. «Тони, — говорилось в ней, — Адриан умер. Самоубийство. Я звонил твоей маме, но она

сказала, что не знает, где ты находишься. Алекс».

— Блин, — вырвалось у меня; впервые я выразился при родителях.

— Сочувствую тебе, сынок.

Отцовская реплика была, мягко говоря, не в тему. Я поднял на него глаза и задумался: передается ли облысение по наследству и как его избежать.

После общего молчания, которое в каждой семье имеет свои особенности, мама спросила:

— Как ты думаешь, не оттого ли это случилось, что он был слишком умный?

— У меня нет данных о зависимости между интеллектом и самоубийством, — ответил я.

— Ладно тебе, Тони, ты же понимаешь, о чем я.

— Нет, на самом деле не понимаю.

— Хорошо, я по-другому скажу: ты ведь тоже умный мальчик, однако же не настолько умный, чтобы такое над собой сотворить.

Я смотрел на нее в упор без единой мысли в голове. Ошибочно истолковав мое молчание, она продолжила:

— А от большого ума крыша едет, лично я так считаю.

Чтобы не углубляться в эту теорию, я распечатал второе письмо от Алекса. Он писал, что

Адриан провернул это дело очень рационально и оставил полный отчет о своих мотивах. «Надо бы встретиться и это перетереть. Может, в баре отеля „Черинг-Кр.“? Звякни. Алекс».

Я распаковал вещи, пришел в себя, отчитался о поездке, вспомнил неизменные порядки и запахи, маленькие радости и безграничную скуку родительского дома. А мыслями все время возвращался к тем азартно-наивным дискуссиям, которые мы вели после того, как Робсон повесился на чердаке, пока наша собственная жизнь еще не началась. С философской точки зрения нам казалось самоочевидным, что каждый свободный человек имеет право на суицид: это поступок логичный, если он прерывает неизлечимую болезнь или глубокую старость; героический, если позволяет избежать пыток или спасти чужую жизнь; эффектный, если совершен в агонии несчастной любви (смотри Классическую Литературу). Убогое, посредственное деяние Робсона не укладывалось ни в одну из этих категорий.

Равно как и самоубийство Адриана. В письме, оставленном на имя коронера, он изложил свою позицию: жизнь — это непрошеный подарок; мыслящий человек связан философским обязательством исследовать как природу жизни, так

и ее необходимые условия; а коль скоро человек решает отказаться от непрошеного подарка, его нравственный и человеческий долг требует принять все последствия такого решения. В конце была приписка, означавшая практически «что и следовало доказать». Адриан просил коронера предать гласности его доводы, и тот не отказал в этой просьбе.

Впоследствии я спросил:

— Как он это сделал?

— Лежа в ванне, перерезал себе вены.

— Господи. Так поступали… древние греки, да? Или у них была цикута?

— Скорее римляне, если не ошибаюсь. Вскрывали себе вену. Адриан заранее узнал, как это делается. Резать нужно по диагонали. Разрежешь точно поперек — потеряешь сознание, рана закроется, и будешь жить дальше, дурак дураком.

— Наверное, в этом случае остается хотя бы перспектива утонуть.

— Допустим; но это, как ни крути, тянет только на «хорошо», — сказал Алекс. — А наш Адриан шел на «отлично».

И в самом деле: диплом с отличием, самоубийство с отличием.

Адриан покончил с собой в квартире, которую

снимал вместе с двумя аспирантами. Те уехали на выходные, и он подготовился без помех. Написал письмо коронеру, прикнопил к дверям ванной комнаты записку «НЕ ВХОДИТЬ. ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЛИЦИЮ. АДРИАН», наполнил ванну, заперся изнутри, лег в горячую воду, перерезал себе запястья и умер от потери крови. Нашли его через полтора дня.

Алекс показал мне вырезку из «Кембридж ивнинг ньюс». «Трагическая гибель „подающего надежды“ выпускника». Не иначе как в типографии была готовая отливка с таким текстом. Заключение коронера гласило, что Адриан Финн, двадцати двух лет, покончил с собой «в состоянии нарушения душевного равновесия». Помню, как разозлила меня эта суконная фраза: я мог бы поклясться, что душевное равновесие Адриана в принципе невозможно было нарушить. Однако с точки зрения закона самоубийца по определению безумен, по крайней мере в тот момент, когда лишает себя жизни. И закон, и общество, и церковь дружно заявили, что вменяемый, здоровый человек не способен на самоубийство. Не опасались ли они, что логические рассуждения этого самоубийцы поставят под сомнение сущность и ценность человеческой жизни в том виде, в ка-

ком она регламентирована государством, которое платит коронеру? Ведь если человека объявляют хотя бы временно безумным, то и причины, побудившие его к самоубийству, тоже следует признать безумными. Так что аргументация Адриана, подкрепленная ссылками на античных и современных философов, скорее всего, осталась без внимания, потому что она отстаивала примат запланированного им деяния над презренной пассивностью тех, кто плывет по течению.

Адриан, как оказалось, принес извинения полицейским за доставленное беспокойство и заранее поблагодарил коронера за обнародование его последнего слова. Помимо этого, он выразил желание, чтобы его кремировали, а пепел развеяли по ветру, так как быстрое уничтожение тела (тоже активный выбор философа) куда предпочтительней, чем инертное прозябание под землей в ожидании естественного разложения.

— А ты ходил? На похороны?

— Меня не звали. И Колина тоже. Только самые близкие и так далее.

— И что мы должны думать?

— Ну, это право родственников.

— Да я не о том. О его мотивах.

Алекс пригубил пиво.

— Я тогда не решил, это жесть или полный отстой.

— А потом? Решил?

— Получается, и то и другое.

— Мне вот что непонятно, — сказал я. — То ли этот поступок замыкается сам в себе — не в том смысле, что он эгоцентричен, а просто, как бы это сказать, касается только Адриана, — то ли он служит немым укором всем остальным? То есть нам. — Я посмотрел на Алекса.

— Получается, и то и другое.

— Ты повторяешься.

— Интересно, что думают его преподаватели философии. Чувствуют, наверное, что у них рыло в пуху. Ведь это они промывали ему мозги.

— Когда вы с ним в последний раз виделись?

— Месяца за три до его смерти. Он сидел аккурат на твоем стуле. Потому я тебя сюда и позвал.

— Не иначе как он собирался в Чизлхерст. Как он тебе показался?

— Радостный. Счастливый. В своем репертуаре, даже круче. На прощанье объявил, что влюбился.

Вот сучка, подумал я. Если есть в мире девица, которую можно полюбить, чтобы в скором времени лишить себя жизни, то это Вероника.

— Что он о ней рассказывал?

— Ничего. Ты же знаешь, что он был за фрукт.

— А он тебе говорил, что я ему написал письмо и посоветовал засунуть эту любовь в одно место?

— Нет, не говорил, но меня это не удивляет.

— Что значит «это» — что я ему написал или что он помалкивал?

— Получается, что и то и другое.

Я ткнул Алекса под ребра, только лишь для того, чтобы он пролил пиво.

Вернувшись домой и даже не успев обдумать услышанное, я подвергся маминому допросу.

— Ну, что ты узнал?

Пришлось вкратце обрисовать ей события.

— Бедные полисмены, представляю, что они там увидели. Чем только им не приходится заниматься. У него были проблемы по женской части?

Я чуть не выпалил: естественно, были — он же встречался с Вероникой. Но вслух ответил:

— Алекс говорит, что во время их последней встречи Адриан был всем доволен.

— Почему же тогда он это сделал?

Я пересказал ей сокращенную версию сокращенной версии его объяснений, опустив имена философов. Постарался растолковать про непро-

шеный подарок, про действие и бездействие. Мама кивала, впитывая эту информацию.

— Как видишь, я была права.

— В каком смысле, мам?

— Слишком умный был. Такие умники до чего угодно могут договориться. Здравого смысла-то нет. У него крыша съехала, потому он и руки на себя наложил.

— Да, мам.

— Больше сказать нечего? Значит, и сам так считаешь?

Чтобы не взорваться, я прикусил язык.

В последующие дни я не мог отделаться от мыслей о различных сторонах кончины Адриана. Сам я, конечно, не ожидал от него прощального письма, но мне было обидно за Колина и Алекса. И что я теперь должен был думать о Веронике? С ней Адриан нашел любовь, но лишил себя жизни — такое не укладывалось в голове. Большинству из нас первый любовный опыт, даже неудачный — а может, в особенности неудачный, — внушает надежду, что в жизни есть нечто, ради чего стоит жить. И хотя в дальнейшем некоторые пересматривают это убеждение, а кое-кто и вовсе ставит на нем крест, первая любовь не сравнится ни с чем, правда ведь? Вы согласны?

А вот Адриан был не согласен. Возможно, с другой женщиной… нет, вряд ли — Алекс же подтвердил, что Адриан во время их последней встречи пребывал в радостном волнении. Неужели в считаные месяцы после этого произошло что-то страшное? Нет, Адриан упомянул бы это в своей записке. Он у нас был главным правдоискателем и мыслителем: что на уме, то и на бумаге.

Что касается Вероники, я метался между двумя крайностями: то обвинял ее, что не уберегла Адриана, то жалел: девушка так выгодно вложила свой капитал — и вот, пожалуйста. Может, стоило выразить свои соболезнования? Но она сочла бы меня лицемером. А если искать с ней встречи, она либо не ответит, либо перевернет все с ног на голову, да так, что я вообще перестану соображать.

Но со временем я все же убедился, что пока еще соображаю. Иными словами, я понял мотивы Адриана, отнесся к ним с уважением и даже с восхищением. У него был более глубокий ум и более обстоятельный характер, чем у меня: он выстраивал логические рассуждения и затем совершал поступки, основываясь на логических выводах. Подозреваю, что мы, в большинстве своем, поступали как раз наоборот: принимали скоропалительные решения и только потом, что-

бы их оправдать, подводили философскую базу. А результат объявляли продуктом здравого смысла. Виделся ли мне в поступке Адриана скрытый упрек, адресованный нам всем? Нет. Я, во всяком случае, считаю, что он к этому не стремился. Да, Адриан притягивал к себе людей, но никогда никого не поучал; он считал, что каждый должен думать за себя. Не уйди он в мир иной, сумел бы он — или хотя бы попробовал — «наслаждаться жизнью», как мы все? Не исключено; однако возможно было и другое — комплекс вины, мучение от невозможности привести свои поступки в соответствие с логическими доводами.

Причем вышеизложенное не отменяет того факта, что, по выражению Алекса, его кончина была полный отстой.

Через год Колин с Алексом предложили собраться. В годовщину смерти Адриана мы встретились в отеле «Черинг-Кросс» и заказали блюда индийской кухни. Стали вспоминать и восхвалять нашего друга. Не забыли, как он чуть не оставил старину Джо Ханта без работы, как просвещал Фила Диксона в вопросах Эроса и Танатоса. Прошлое уже сводилось для нас к ярким эпизодам. Нам вспомнилось, как мы ликовали, когда Адриан получил стипендию для поступле-

ния в Кембридж. Потом сообразили, что Адриан побывал в гостях у каждого из нас, а мы у него — ни разу; мы не имели понятия — да, кажется, и не спрашивали? — чем занимался его отец. В баре отеля мы подняли в его память бокалы вина, а после ужина — кружки пива. На улице, хлопая друг друга по плечам, поклялись ежегодно отмечать эту дату. Но жизнь уже развела нас в разные стороны, и одной лишь памяти об Адриане оказалось недостаточно, чтобы удержать нас вместе. Дело закрыли довольно быстро — очевидно, потому, что вокруг этого самоубийства не было ореола тайны. Мы, разумеется, собирались помнить Адриана всегда. Но его смерть была скорее показушной, нежели «трагической», вопреки напыщенному заявлению кембриджской газеты, и Адриан довольно быстро канул в прошлое, заняв свою нишу во времени и истории.

В тот период я уже стал жить самостоятельно и получил место стажера в Управлении по делам культуры и искусства. Потом я познакомился с Маргарет, и через три года у нас родилась Сьюзи. Мы купили небольшой домик под большие проценты; я каждый день мотался в Лондон. Моя стажировка положила начало солидной карьере. Все шло своим чередом. Один англичанин как-то

сказал, что брак — это долгий и скучный обед, на котором десерт подается на первое. Мне видится в этом излишний цинизм. Я не жаловался на свою семейную жизнь — ну, может быть, хотел, чтобы она была не столь размеренной и тихой. Лет через десять Маргарет закрутила интрижку с директором ресторана. Меня от него тошнило, равно как и от его кухни, но иное было бы странно, правда? Родительские обязанности суд разделил между нами поровну. К счастью, дочка легко перенесла наш разрыв; и, как я сейчас понимаю, у меня никогда не было желания применить к ней мою теорию ущерба.

После развода у меня случались какие-то любовные похождения, но ничего серьезного. О каждой новой подруге я докладывал Маргарет. Тогда это казалось естественным. Теперь мне сдается, что я просто хотел вызвать ее ревность; а может, это был род самозащиты, заслон от прочных связей, которые могли перерасти в серьезные отношения. Кроме того, в своей полуопустевшей жизни я строил всякие планы, которые называл «проектами» — наверное, для большей реалистичности. Все они пошли прахом. Ну, это неважно да и не имеет отношения к моему рассказу.

Сьюзи выросла, и окружающие стали называть

ее Сьюзен. Когда ей исполнилось двадцать четыре, я проводил ее к алтарю. Кен — врач; сейчас у них двое детишек, мальчик и девочка. Их фотографии всегда у меня с собой, в бумажнике, и я не упускаю случая похвастать внуками — давно переросшими свое изображение. И это нормально, если не сказать «с философской точки зрения это самоочевидно». В голове крутится: «Растут не по дням, а по часам, верно?», тогда как на самом деле это означает только одно: время для меня теперь летит быстрее.

Директор ресторана оказался довольно шустрым: он спутался с какой-то особой, которая смахивала на Маргарет, но была на десять решающих лет моложе. Мы с Маргарет поддерживаем дружеские отношения: отмечаем семейные даты, иногда вместе обедаем. Однажды, после пары бокалов, она расчувствовалась и предложила начать все сначала. В жизни бывают и не такие странности — так она выразилась. В жизни, конечно, всякое бывает, но у меня к тому времени сложился определенный распорядок, да и одиночество мне полюбилось. А может, в моем характере не хватало странности для таких дел. Раз-другой мы обсуждали возможность совместного отдыха, но, видимо, каждый надеялся, что

другой спланирует поездку, закажет билеты, забронирует гостиницу. Поэтому ничего у нас не вышло.

Сейчас я на пенсии. У меня квартира, где умещаются все мои пожитки. Есть пара собутыльников, есть знакомые дамы, но с ними, разумеется, все чисто платонически. (Это тоже к делу не относится.) Состою в местном историческом обществе, хотя меня не так, как других, волнует, на что указывают металлоискатели.

Недавно вызвался поработать волонтером в больничной библиотеке: хожу по палатам, выдаю книги, собираю, рекомендую. Дома сидеть неохота, а так все-таки пользу приношу; опять же работа с людьми. Люди, конечно, больные, а есть и умирающие. Ну, зато в больнице буду знать все ходы и выходы, когда настанет мой черед.

И это не самая плохая жизнь, правда? Случаются черные полосы, случаются белые. Живу с интересом, хотя не посетую и не удивлюсь, если кто-нибудь скажет: тоска зеленая. Возможно, Адриан в каком-то смысле знал, что делает. Но я бы ни за какие коврижки не согласился расстаться с жизнью, понимаете?

Я выжил. «Он выжил и рассказал, как это было» — кажется, так говорится, да? История — вовсе

не ложь победителей, как я в свое время грузил старине Джо Ханту; теперь я это твердо знаю. Это память выживших, из которых большинство не относится ни к победителям, ни к побежденным.

Часть вторая

На склоне лет хочется немного отдохнуть, согласны? Мы ведь это заслужили. Я, например, именно так и думал. Но потом приходит понимание, что жизнь не торопится раздавать заслуженные награды. Кроме того, в молодости мы полагаем, что способны просчитать, какие болячки и горести могут прийти с возрастом. Мысленно рисуем одиночество, развод, вдовство, отдаление детей, кончину друзей. Предвидим потерю статуса, утрату влечений — и собственной привлекательности. Можно пойти еще дальше и рассмотреть приближение смерти, которую всегда встречаешь в одиночестве, даже если рядом близкие. Все это — взгляд в будущее. Но гораздо труднее не просто заглянуть в будущее, а из будущего оглянуться назад. Узнать, какие новые эмоции приносит с собой время. Обнаружить, например, что с уменьшением числа очевидцев становится все меньше доказательств твоей жизни, а потому и меньше уверенности в том, кто ты есть и кем был. Даже если скрупулезно вести архив — собирать дневники, звукозаписи,

фотоматериалы, — впоследствии может оказаться, что фиксировать нужно было нечто совсем другое. Какое там изречение цитировал Адриан? «История — это уверенность, которая рождается на том этапе, когда несовершенства памяти накладываются на нехватку документальных свидетельств».

Я по сей день читаю много исторической литературы и, конечно, отслеживаю всю официальную историю, которая разворачивается у меня на глазах, — падение коммунизма, Маргарет Тэтчер, одиннадцатое сентября, глобальное потепление, — с обычной смесью страха, тревоги и осторожного оптимизма. Но современная история всегда вызывала у меня определенное недоверие, не то что история античного мира, Британской империи или русской революции. Возможно, мне представляется более надежной та история, которую люди оценивают в целом единодушно. Но возможно, что здесь наблюдается все тот же парадокс: история, которая вершится у нас перед носом, должна, казалось бы, видеться наиболее отчетливой, а на деле она наиболее расплывчата. Мы существуем во времени, оно нас и формирует, и калибрует, а к тому же служит мерилом истории, так ведь? Но если мы не

понимаем сущность времени, не можем постичь тайну его хода и скорости, что уж говорить об истории — пусть даже о нашем личном ее отрезке, кратком и почти не документированном?

В молодые годы для нас любой человек едва за тридцать — пожилой, а кому больше полтинника, тот — старая развалина. И время, идя вперед, подтверждает, что не так уж мы ошибались. Мелкие различия во времени, критические и весьма ощутимые для молодых, стираются. Все мы в конце концов попадаем в одну возрастную категорию — в категорию немолодых. Я по этому поводу никогда не парился.

Но это правило — не без исключений. Для некоторых различия во времени, установленные по молодости лет, никуда не исчезают: старший остается старшим, хотя седые бороды у всех одинаковы. Для некоторых разрыв, скажем, в пять лет означает, что в извращенном восприятии один — или одна — из нас будет считать себя мудрее и разумнее, хотя факты свидетельствуют об обратном. Или, наверное, правильнее будет сказать: *поскольку* факты свидетельствуют об обратном. Поскольку это равновесие, как отчетливо видно со стороны, нарушилось в пользу чуть более молодой личности, более старшая личность

будет оберегать свое мнимое превосходство все более истово. И все более нервозно.

Между прочим, я, как и прежде, охотно слушаю Дворжака. Симфонии, правда, реже: теперь предпочитаю струнные квартеты. А вот Чайковский проделал путь многих гениев, которые пленяют молодых, сохраняют остаточное влияние на зрелых, но впоследствии становятся… не то чтобы неудобоваримыми, но какими-то менее подходящими, что ли. Не хочу сказать, что она была права. Если молодые превозносят какого-нибудь деятеля искусства как гения, в этом нет ничего плохого. Наоборот, если молодые не преклоняются перед гением, с ними явно что-то не так. Кстати, я не считаю саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» творением гения. Но в молодости такое мне даже в голову не приходило. А с другой стороны, я время от времени вспоминаю Теда Хьюза и улыбаюсь, потому что он так и не исчерпал запас животных.

С дочкой у меня отношения хорошие. Достаточно хорошие, скажем так. Просто нынешнее молодое поколение не чувствует ни потребности, ни тем более обязанности поддерживать контакты. Или хотя бы «видеться». А отцу и по

электронной почте можно написать — раз уж он эсэмэски посылать не научился. Да, он уже на пенсии, но все еще носится со своими таинственными «проектами»; сомневаюсь, доведет ли он до конца хотя бы один, но, по крайней мере, у него голова занята, все лучше, чем гольф; да-да, мы как раз хотели на прошлой неделе к нему заскочить, но дела помешали. Хоть бы только Альцгеймера у него не было, ужасно этого боюсь, потому что… ну… мама ведь его к себе не возьмет, правда? Тут я, конечно, преувеличиваю, передергиваю. У Сьюзи таких мыслей не бывает, я уверен. Когда человек живет один, у него случаются вспышки обидчивости и паранойи. С дочкой у меня вполне хорошие отношения.

У нашей знакомой — хотя что значит «нашей»: мы с Маргарет состоим в разводе дольше, чем состояли в браке, — сын играл в панк-рок-группе. Я полюбопытствовал, слышала ли она его песни. Женщина смогла назвать только одну: «Каждый день — воскресенье». Помню, я со знанием дела посмеялся: все та же подростковая скука, переходящая от поколения к поколению. А спасает от нее все тот же сардонический склад ума. «Каждый день — воскресенье» — это название вернуло меня в пору моего застоя и тягостного

ожидания начала жизни. Я тогда спросил эту знакомую: а еще какие песни есть у их группы? Никаких, ответила она, только эта, единственная. И что там? — поинтересовался я. — В каком смысле? — Ну, какая там следующая строчка? — Что ты пристал? — не выдержала она. — *Это* и есть их песня. Они повторяют одну и ту же строчку снова и снова, пока песня не закончится по своему хотению.

«Каждый день — воскресенье»: неплохая была бы эпитафия, да?

Конверт был длинный, белый, с прозрачным окошком, в котором читалось мое имя и адрес. Не знаю, как вы, а я такие конверты распечатывать не спешу. В свое время каждый болезненный этап моего развода отмечался таким вот конвертом — наверное, с тех пор у меня к ним неприязненное отношение. Теперь в таком конверте может прийти либо налоговый ваучер, извещающий о вычетах из плачевно-скудных дивидендов от нескольких акций, которые я купил, выйдя на пенсию, либо внеочередная просьба от благотворительного фонда, который я и без того поддерживаю регулярными взносами. Поэтому я вспомнил о том письме только ближе к вечеру, когда взялся отсортировывать домашний бумаж-

ный мусор, вплоть до последнего конверта. Как оказалось, письмо прислала неизвестная мне адвокатская контора «Койл, Иннес и Блэк». Некая Элинор Мэрриотт связалась со мной «по делу о наследстве г-жи Сары Форд (ныне покойной)». Ответил я не сразу.

Мы живем весьма примитивными допущениями, вы согласны? Например, что память включает в себя события плюс время. Однако не все так просто. Кто из великих сказал, что память — это то, что мы считали забытым? Пора бы нам усвоить, что время работает не как фиксаж, а скорее как растворитель. Но такое утверждение неудобно, не в нашу пользу, оно не помогает идти по жизни, поэтому мы его игнорируем.

Душеприказчица просила подтвердить мой адрес и выслать ксерокопию паспорта. Как выяснилось, я получил наследство: пятьсот фунтов стерлингов и два «документа». Это известие меня ошарашило. Прежде всего, сам факт получения наследства от какой-то женщины, чье имя для меня было пустым звуком. Далее, сумма в пятьсот фунтов: ни пришей ни пристегни. Больше, чем ничего, но меньше, чем кое-что. Знай я, когда составлено завещание, вопрос, надо полагать,

был бы снят. Впрочем, если это произошло давно, сумма в перерасчете на сегодняшний день была бы куда внушительней, а вопросов стало бы еще больше.

Я подтвердил факт своего существования, а также удостоверил собственную личность и место жительства, приложив ксерокопированное доказательство. Пользуясь случаем, спросил, можно ли узнать, каким числом датировано завещание. Как-то вечером я сел за стол и попытался восстановить в памяти унизительную поездку в Чизлхерст — событие сорокалетней давности. Перебрал все подробности, действия и реплики, которые могли бы заслужить похвалу или награду. Но память моя с годами превратилась в механизм для штамповки одних и тех же впечатлений, похожих на истину. Оглядываясь в прошлое, я терпеливо настраивал эту машину на другой режим. Но это не помогало. Я по-прежнему оставался всего лишь ухажером дочери госпожи Сары Форд (ныне покойной), сносившим насмешки мужа наследодательницы, высокомерное любопытство ее сына и издевательства ее дочери. В то время я реагировал на это очень болезненно, но никак не мог рассчитывать на последующее материнское извинение в виде

пяти сотен фунтов.

Да и болезненные ощущения терзали меня недолго. Как я уже говорил, у меня развит инстинкт самосохранения. Я благополучно вычеркнул Веронику из памяти, из всей своей биографии. Поэтому, дожив — как-то совсем незаметно — до среднего возраста и начав оглядываться на события своей жизни, на оставшиеся нехожеными тропы, на иллюзорные, обманчивые «если бы», я ни разу не подумал о том, что хорошего — или скорее плохого — могло бы выйти у нас с Вероникой. С Энни — да, с Вероникой — нет. Я ни на минуту не жалел о женитьбе на Маргарет, хоть мы с ней и развелись. При всем желании (правда, такого желания у меня не возникало) я не мог представить, как еще могла бы сложиться моя жизнь. Я далек от самодовольства; скорее мне недостает воображения, честолюбия или чего-то в этом роде. Наверное, правда в том, что в моем характере действительно не хватало странностей, которые дали бы возможность построить жизнь иначе.

Письмо от душеприказчицы я прочел не сразу. Сначала долго разглядывал вложение: длинный, кремового цвета конверт с моим именем. Этот

почерк я видел только раз в жизни, но сразу узнал. «Энтони Уэбстеру, эсквайру»: маленькая завитушка в начале и в конце каждого слова тут же напомнила мне о женщине, знакомство с которой ограничилось одним уик-эндом. У которой был почерк, выдававший — не столько формой, сколько уверенностью — личность «достаточно странную», чтобы совершать поступки, на какие меня не хватало. Но что это за поступки — я мог лишь догадываться, да и то отдаленно. На лицевой стороне конверта, посредине, у верхнего края, остался кусочек скотча. Я думал, что клейкая лента для прочности переходит на оборотную сторону, но нет, она была отрезана как раз по верхнему сгибу конверта. Вероятно, это письмо когда-то было скреплено с другим документом.

В конце концов я собрался с духом и прочел: «Милый Тони, думаю, будет справедливо, если ты получишь прилагаемое. Адриан всегда тепло отзывался о тебе, и ты, возможно, сочтешь, что получил любопытную, хотя и печальную весть из далекого прошлого. Кроме того, завещаю тебе немного денег. Ты, наверное, сочтешь это нелепостью, но я, по правде сказать, и сама не вполне понимаю, что мною движет. Как бы то ни было, я переживаю, что от нашей семьи тебе были

одни неприятности (хотя это дело прошлое), и желаю тебе всего доброго — пусть даже из загробного мира. Твоя Сара Форд. P. S. Как ни странно, в последние месяцы жизни он, по-моему, был счастлив».

Душеприказчица запросила мои банковские реквизиты для перевода завещанной суммы. Она добавила, что высылает только первый из двух «документов», оставленных на мое имя. Второй документ находится в распоряжении дочери госпожи Форд. Очевидно, подумал я, от него и остался кусочек скотча. В настоящее время Элинор Мэрриотт добивалась изъятия этого второго документа. И в ответ на мой вопрос: завещание госпожи Форд было составлено пять лет назад.

Как говорила Маргарет, женщины бывают двух типов: прозрачные и загадочные. Это первое, что отмечает мужчина, и первое, что его привлекает или отталкивает. Одних мужчин влечет первый тип, других — второй. Маргарет — думаю, это само собой разумеется — не таила в себе никаких загадок, но временами завидовала тем, кого окружал природный — или напускной — ореол таинственности.

— Ты мне нравишься такой, как есть, — сказал я ей однажды.

— Но ты меня знаешь как облупленную, — сказала она в ответ. — Неужели тебе не хочется, чтобы во мне было хоть что-нибудь… непостижимое?

— Мне совершенно не нужны загадки. Думаю, они бы меня отвратили. Загадочная женщина — это либо фасад, игра, ловушка для мужчин, либо загадка для нее самой, и это хуже всего.

— Ну, Тони, ты у нас прямо светский лев.

— Ничего подобного, — возразил я, понимая, естественно, что она надо мной подтрунивает. — У меня женщин-то было — раз-два и обчелся.

— «Возможно, я не разбираюсь в женщинах, но я знаю, что мне нравится»?

— Я этого не говорил и даже не имел в виду. Но, думаю, как раз ограниченность моего опыта и позволила мне составить о них собственное мнение. И решить, какие черты мне нравятся. А в противном случае я бы запутался.

Маргарет сказала:

— Теперь вообще не понять: это для меня лестно или нет?

Разумеется, эта беседа состоялась до того, как наш брак дал трещину. Но он в любом случае был обречен, даже если бы Маргарет по природе своей оказалась более загадочной женщиной; это

я вам — и ей — точно говорю.

Что-то от нее за долгие годы передалось и мне. К примеру, если бы я ее не знал, то, наверное, вступил бы в неспешную переписку с душеприказчицей. А так мне было невтерпеж дожидаться очередного конверта с целлофановым окошком. Поэтому я позвонил миссис Элинор Мэрриотт и задал ей вопрос относительно второго завещанного мне документа.

— В завещании оно значится как дневник.

— Дневник? Чей же, самой госпожи Форд?

— Нет. Одну минуту, я проверю. — Пауза. — Дневник Адриана Финна.

Адриан! Какими судьбами его дневник оказался у миссис Форд? Но не задавать же этот вопрос душеприказчице.

— Мы вместе учились, — только и выговорил я, а потом добавил: — Видимо, дневник был прикреплен к тому конверту, который вы мне переслали.

— Не берусь утверждать.

— Но вы сами его видели?

— Нет, не видела. — Она вела разговор не то чтобы свысока, а скорее с профессиональной осторожностью.

— А Вероника Форд как-то объяснила, почему

его не отдает?

— Она сказала, что пока не готова с ним расстаться.

Это как раз понятно.

— Но ведь он принадлежит мне?

— Он, безусловно, завещан вам.

Хм. Какая, интересно знать, юридическая закавыка разделяла эти две формулировки?

— А не скажете ли, как она… его заполучила?

— Если я правильно понимаю, в последние годы мать и дочь проживали неподалеку друг от друга. Дочь утверждает, что для сохранности забрала кое-какое имущество к себе. Во избежание ограбления. Ювелирные изделия, деньги, документы.

— Разве это законно?

— Ну, прямого нарушения закона здесь нет. Обычная предусмотрительность.

Мы топтались на одном месте.

— Позвольте уточнить. Она была обязана передать вам этот документ, то есть дневник. Вы его запросили, но безуспешно.

— На данный момент дело обстоит именно так.

— Вы можете дать мне ее адрес?

— Только с ее официального согласия.

— Тогда будьте любезны, заручитесь ее официальным согласием.

Вы заметили, что в разговорах со служителями юстиции мы через некоторое время переходим на их язык?

Чем меньше времени остается нам из отпущенного срока, тем меньше у нас желания тратить его впустую. Логично, правда? Впрочем, как именно мы распорядимся сбереженными часами… да, это еще одна сфера, которую в молодости предугадать трудно. Я, например, подолгу занимаюсь уборкой, хотя нельзя сказать, что квартира у меня запущена. Но в этом состоит одна из маленьких радостей, которые приходят с возрастом. Я навожу порядок, без нужды ничего не выбрасываю, поддерживаю чистоту, делаю мелкий ремонт, чтобы квартира не упала в цене. У меня составлено завещание; отношения с дочкой, зятем, внуками и бывшей женой ровные, хотя и не безоблачные. По крайней мере, так я себе внушаю. Я достиг состояния бесконфликтности, даже безмятежности. Потому что живу в согласии со своей средой. Грязи не люблю и оставлять после себя грязь тоже не намерен. Если хотите знать, я завещал, чтобы меня кремировали.

Так вот, перезвонил я Элинор Мэрриотт и

попросил у нее контактные данные другого отпрыска госпожи Форд — Джона, накоротке именуемого Джеком. Потом пригласил Маргарет сходить куда-нибудь пообедать. И еще назначил встречу со своим собственным адвокатом. Нет, это слишком громко сказано. Вот у Братца Джека наверняка есть «свой собственный адвокат». А у меня — местный нотариус, который составил для меня завещание; он арендует каморку над цветочным магазином, но дело свое знает. Мне он понравился еще и тем, что не пытался называть меня по имени и вообще не фамильярничал. Для меня он по-прежнему Т. Дж. Ганнелл, а как расшифровываются его инициалы — понятия не имею. Знаете, от какой мысли я содрогаюсь? Если меня, уже немощным стариком, заберут в больницу, то медсестры и санитарки, совершенно чужие люди, будут говорить мне «Энтони» или, еще того чище, «Тони». Ну-ка, Тони, укольчик. Доедай кашу, Тони. По-большому сходил, Тони? Понятно, что к тому времени бесцеремонность медперсонала будет, по-видимому, наименьшей из моих проблем, но все же.

После знакомства с Маргарет я совершил одну странность. Вычеркнул Веронику из своей жизни. Сделал вид, что моей первой любовью

была Энни. Как известно, мужчины склонны преувеличивать число своих побед; я сделал ровно противоположное. Подвел черту и начал с чистого листа. Маргарет слегка озадачило, что я засиделся на старте — речь шла не столько о потере девственности, сколько о серьезных отношениях как таковых; но вместе с тем, как мне тогда показалось, она даже слегка растрогалась. И сказала, что мужчине воздержанность даже к лицу — или как-то так.

Что еще удивительнее, такую версию своей биографии я разыграл как по нотам — потому, в частности, что для себя давно уже все решил. Историю с Вероникой, состоявшую из ее презрения и моих унижений, я счел своим крахом и постарался стереть из памяти. Уничтожил все письма, сохранил только одну фотографию, да и ту годами не извлекал на свет.

Но через год-другой после свадьбы, уверившись в себе, а еще больше — в наших отношениях, я открыл Маргарет всю правду. Она выслушала, задавая резонные вопросы, и все поняла. Захотела увидеть фотографию — ту самую, сделанную на Трафальгарской площади, внимательно рассмотрела, покивала, но ничего не добавила. Оно и к лучшему. Я не мог надеяться на какие-либо

комментарии, а уж тем более на комплименты в адрес моей бывшей подруги. Да и не хотел этого. Я хотел только одного: рассчитаться с прошлым и получить у Маргарет прощение за свой специфический обман. И получил искомое.

Мистер Ганнелл — сухопарый, уравновешенный, немногословный господин. Да и то сказать, молчание стоит его клиентам ровно столько же, сколько беседа.

— Мистер Уэбстер.

— Мистер Ганнелл.

На это ушло минут сорок пять, и я за свои деньги получил профессиональную консультацию. Он сказал, что обращаться в полицию и требовать возбуждения дела о краже против женщины преклонного возраста, недавно похоронившей родную мать, — просто дурость. Мне понравился этот совет. Не по сути, а по словесному выражению. «Дурость» куда убедительнее, чем «нецелесообразно» или «неуместно». Помимо этого, он рекомендовал не бомбардировать письмами госпожу Мэрриотт.

— А что, адвокаты не любят, когда им пишут, мистер Ганнелл?

— Скажем так: если пишут клиенты — это совсем другое дело. В данном случае по счетам

платит семейство Форд. Вы даже не представляете, с какой легкостью письмо может завалиться на дно ящика.

Я обвел глазами светло-бежевые стены, комнатные растения в горшках, репродукцию неброского английского пейзажа — и, конечно, картотечные ящики. Потом вернулся взглядом к мистеру Ганнеллу.

— Другими словами, она может подумать, будто у меня психоз.

— О, мистер Уэбстер, такого она никогда не подумает. Тем более что «психоз» — не юридический термин.

— А как иначе сказать?

— Допустим, «склонность к сутяжничеству». Это довольно сильное выражение.

— Понятно. И еще один вопрос. Сколько времени уходит на исполнение завещания?

— Если честно… года полтора-два.

Два года! Не мог же я столько ждать.

— В первую очередь выполняются основные условия, а вот дополнительные распоряжения могут завести в тупик. Утрачено свидетельство акционера. Не сходятся цифры по налогам. Да и письма, бывает, теряются.

— Или заваливаются на дно ящика.

— Совершенно верно, мистер Уэбстер.

— Что еще вы можете посоветовать?

— Я бы воздержался от слова «кража». Чтобы без надобности не накалять обстановку.

— Но разве она не совершила кражу? Напомните, какой там есть юридический термин для совершенно бесспорного факта?

— *Res ipsa loquitur?*

— Вот именно.

Мистер Ганнелл помолчал.

— У меня на столе нечасто появляются уголовные дела, но ключевые слова в определении кражи, насколько я помню, звучат так: «умысел безвозвратно лишить» кого-либо его имущества. Известно ли вам, какой умысел был в действиях мисс Форд и, вообще говоря, каково ее психическое состояние?

Я хохотнул. Психическое состояние Вероники было для меня неразрешимой загадкой и сорок лет назад. Очевидно, мой смешок прозвучал двусмысленно, а мистер Ганнелл — человек проницательный.

— Не сочтите за бестактность, мистер Уэбстер, но не было ли в прошлом между вами и мисс Форд какого-либо эпизода, способного повлиять на исход возможного гражданского или даже

уголовного дела?

Между мною и мисс Форд? Мой взгляд упал на оборотные стороны стоявших на столе фотографий (видимо, семейных), и в голове возник совершенно четкий образ.

— Вы многое для меня прояснили, мистер Ганнелл. Когда буду посылать вам оплаченный счет, наклею марку первого класса.

Он улыбнулся.

— На самом деле для нас такие вещи много значат. При определенных обстоятельствах.

Через две недели Элинор Мэрриотт сообщила мне адрес электронной почты мистера Джона Форда. Мисс Вероника Форд отказалась предоставить свои контактные данные. Да и мистер Форд явно осторожничал: ни номера телефона, ни почтового адреса.

Я вспомнил, как Братец Джек развалился на диване, а Вероника взъерошила мне волосы и спросила: «Как по-твоему, такой сойдет?» И Джек мне подмигнул. Но я не ответил ему тем же.

Мое электронное сообщение было выдержано в официальном тоне. Я выразил свои соболезнования. Сделал вид, что у меня остались приятные воспоминания от поездки в Чизлхерст. Объяснил ситуацию и попросил Джека оказать влияние

на сестру, с тем чтобы она передала мне второй «документ», который, по некоторым сведениям, представлял собой дневник моего школьного друга, Адриана Финна.

Дней через десять Братец Джек появился у меня во «входящих». Письмо содержало длинную преамбулу, где фигурировали поездки по миру, пенсия и частичная занятость, влажность воздуха в Сингапуре, беспроводные сети и интернет-кафе. А дальше: «Ладно, это мелочи. К сожалению, на свою сестру я никакого влияния не имею и, между нами говоря, никогда не имел. От попыток ее перевоспитать отказался много лет назад. Если откровенно, мое посредничество, скорее всего, возымеет обратное действие. Иначе я бы, конечно, постарался найти выход из этого щекотливого положения. Ага, за мной приехал рикша — надо бежать. Счастливо. Джон Форд».

Почему мне сразу почудилась в этом какая-то фальшь? Почему я мгновенно представил, как он спокойно сидит у себя дома, где-нибудь в графстве Суррей, в шикарном особняке, примыкающем к полю для гольфа, и смеется надо мной? Сервер *aol.com* не прояснял ровным счетом ничего. Я посмотрел, когда отправлено сообщение: время с равным успехом подходило и для Сингапура, и

для графства Суррей. Почему я решил, что Братец Джек надо мной издевается? Да потому, наверное, что в нашей стране нюансы классовых различий со временем не стираются, в отличие от разницы в возрасте. Форды стояли на ступень выше Уэбстеров, и пропасть между ними никуда не делась. Или у меня паранойя?

Делать было нечего; оставалось лишь написать ему вежливый ответ с просьбой прислать контактные данные Вероники.

Когда говорится «она — красивая женщина», обычно подразумевается «со следами былой красоты». Но в адрес Маргарет я произношу эти слова без всякой задней мысли. Она считает — точнее, знает, — что изменилась, и это действительно так, хотя для меня в меньшей степени, чем для кого-нибудь другого. За директора ресторана, конечно, говорить не буду. Но я бы сказал так: она видит то, что утрачено, а я — то, что осталось неизменным. Волосы у нее больше не доходят до середины спины и не стянуты в греческий узел; сегодня у нее короткая стрижка, в которой проглядывает седина. Пейзанские сарафаны, из которых она не вылезала, уступили место кардиганам и стильным брюкам. Веснушки, которые я так любил, теперь смахивают на пигментные

пятна. Но первым делом мы обращаем внимание на глаза, правда? По глазам мы выбирали — и сейчас выбираем — человека. А глаза — те же, что и были, когда мы с ней познакомились, сблизились, поженились, уехали в свадебное путешествие, когда оформляли совместную закладную, ходили по магазинам, стряпали, отдыхали, любили, ждали нашего общего ребенка. И когда разводились.

Глаза все те же. Телосложение тоже не изменилось, равно как и непроизвольные жесты, и только ей одной присущие манеры. В том числе — несмотря на время и расстояние — и манера поведения со мной.

— Ну, что там у тебя, Тони?

Я рассмеялся. Мы еще не успели раскрыть меню, но вопрос не показался мне преждевременным. Маргарет — она такая: когда ты говоришь, что не уверен насчет второго ребенка, ты имеешь в виду, что не хочешь его от меня? Почему ты считаешь, что развод — это разделение вины? Как ты теперь собираешься устраивать свою жизнь? Если ты действительно хотел поехать со мной отдыхать, почему не заказал билеты? Ну, что там у тебя, Тони?

Некоторые считают рискованными все разговоры о бывших возлюбленных мужа или жены,

как будто до сих пор их побаиваются. Мы с Маргарет были лишены таких предрассудков. Правда, за мной не тянулся длинный шлейф любовниц. А если она позволяла себе давать прозвища тем, которые все же были, — что ж, имела право, разве нет?

— Представь себе, речь пойдет о Веронике Форд.

— Опять эта Психичка?

Я готов был это услышать и даже бровью не повел.

— Она снова за свое? Ты ведь еле ноги от нее унес, Тони.

— Так и было, — ответил я.

Наверное, сподобившись рассказать Маргарет о Веронике, я слегка приврал, чтобы выставить себя доверчивым простаком, а Веронику — еще большей сумасбродкой, чем на самом деле. Но поскольку прозвище было навеяно не чем иным, как моим рассказом, я даже не мог протестовать. Единственное — не употреблял его сам.

Я рассказал Маргарет всю эту историю: какие предпринял шаги, какую выбрал тактику. Как я уже говорил, что-то от Маргарет за долгие годы передалось и мне; именно поэтому она согласно или ободряюще кивала в разные моменты моего

рассказа.

— А сам-то ты как думаешь: с какой радости мамаша Психички оставила тебе пятьсот фунтов?

— Ума не приложу.

— Считаешь, братец водил тебя за нос?

— Да. Во всяком случае, в его письме было что-то неестественное.

— Но ведь ты его совсем не знаешь.

— Верно, мы встречались всего один раз. Но вся эта семейка мне подозрительна.

— А как дневник попал к мамаше?

— Понятия не имею.

— Возможно, ей передал его сам Адриан, чтобы не связываться с Психичкой.

— Это как-то нелогично.

Мы помолчали. Поели. Маргарет постукала ножом по моей тарелке:

— А если бы все еще незамужняя Вероника Форд объявилась сейчас в этом кафе и подсела к нам за столик, как бы отреагировал давно разведенный Энтони Уэбстер?

Не в бровь, а в глаз. Она это умеет.

— Вряд ли я бы обрадовался такой встрече.

Мой натянутый тон вызвал у Маргарет улыбку.

— Раскрыл бы рот? Стал бы закатывать рукав и

снимать часы?

Меня бросило в краску. Вам доводилось видеть, как краснеет лысый дядька за шестьдесят? Да точно так же, как лохматый прыщавый пятнадцатилетний юнец. Просто случается такое гораздо реже, и краснеющий откатывается в те времена, когда жизнь была для него сплошной вереницей смущений.

— Напрасно я тебе рассказал.

Она подцепила вилкой салат из помидоров и рукколы.

— Уж не бушует ли у вас в груди… неугасшее пламя, мистер Уэбстер?

— Еще чего.

— В таком случае, если она сама на тебя не выйдет, — наплюй. Получишь по чеку наличные, свозишь меня на недорогой курорт — и точка. У нас с тобой будет по двести пятьдесят на брата: как раз хватит слетать на Нормандские острова.

— Мне нравится, когда ты меня подкалываешь, — сказал я. — Даже по прошествии стольких лет.

Склонившись вперед, она погладила меня по руке.

— Как славно, что мы сохранили добрые отношения. И как славно, что ты, по моему глубокому

убеждению, никогда не закажешь для нас такую поездку.

— Только потому, что ты к этому не стремишься.

Она улыбнулась. И на миг стала почти загадочной. Но Маргарет не умеет темнить, хотя это первый шаг к Женской Тайне. Захотела бы, чтобы я купил нам путевки, — сказала бы прямо.

Ладно, неважно.

— Она присвоила мою вещь, — едва не заканючил я.

— Почему тебе так приспичило ее заполучить?

— Потому, что это дневник Адриана. Мы с Адрианом друзья. Были. Это моя вещь.

— Если бы твой друг пожелал завещать тебе свой дневник, он бы сделал это сорок лет назад, не привлекая посредников. И посредниц.

— Возможно.

— И что же он там написал, как по-твоему?

— Понятия не имею. Но вещь — моя.

Только теперь до меня дошло, что для такой решимости есть и другая причина. Дневник — это свидетельство, а возможно, и доказательство. Дневник сможет прервать цепочку банальных повторов памяти. Он сможет вызвать к жизни некие события, хотя и неизвестно какие.

— Узнать адрес Психички не составит труда. Есть социальные сети, телефонные справочники, частные детективы, наконец. Съездишь к ней, позвонишь в дверь и попросишь вернуть твое сокровище.

— Ни за что.

— Остается кража со взломом, — жизнерадостно предложила Маргарет.

— Шутишь.

— Тогда наплюй. Если, конечно, у тебя, как говорится, нет счета к прошлому, который ты собираешься предъявить, чтобы двигаться дальше. Но ты ведь не такой, правда же, Тони?

— Да, наверное, я не такой, — ответил я с осторожностью.

Потому что в глубине души подозревал, что треп трепом, а доля истины в этом есть. Мы помолчали. Официант убрал наши тарелки. Маргарет видела меня насквозь.

— Ты такой упертый, что даже трогательно. Наверное, в нашем возрасте это помогает не сбиться с мысли.

— Думаю, я и двадцать лет назад был точно таким же.

— Все может быть. — Она жестом попросила счет. — Хочу рассказать тебе про Каролину. Нет-

нет, ты ее не знаешь. Мы с ней познакомились уже после нашего развода. У них с мужем было двое маленьких детишек, которыми занималась гувернантка — ни рыба ни мясо. Не то чтобы Каролину мучили страшные подозрения, нет, ничего конкретного. Девушка не грубила, дети на нее не жаловались. Просто Каролину тревожило, что дети остаются неизвестно с кем. Решила она посоветоваться с одной знакомой — нет, не со мной, с другой. А та и говорит: «Поройся в ее вещах». — «То есть как?» — «А что такого — ты же вся извелась. Дождись, когда она возьмет выходной, обыщи ее комнату, прочти письма. Я бы, например, именно так и сделала». В ближайший выходной Каролина перерыла ее пожитки. И откопала дневник. Который тут же прочла. А там — потоки грязи: «Хозяйка — корова». «Муженек вполне ничего, пускает слюни на мою задницу, но жена у него — тупая сучка». И еще: «Как она не понимает, что бедным детям от нее только вред?» А дальше — сплошные гадости.

— И что она сделала? — полюбопытствовал я. — Уволила гувернантку?

— Тони, — упрекнула моя бывшая. — Это уже совсем другой вопрос.

Я кивнул. Маргарет сверила счет, проведя угол-

ком своей кредитки по каждому пункту заказа.

У нее было еще два высказывания, которые она повторяла на протяжении многих лет: первое — что есть женщины, которые сами по себе не загадочны, а только выглядят загадочными в глазах непонятливых мужчин. А второе — что психичек следует держать в закрытой жестяной коробке с профилем королевы. Наверное, я сам когда-то упомянул и эту деталь своего бристольского периода.

Примерно через неделю у меня во входящих опять появилось имя Братца Джека. «Сообщаю электронный адрес Вероники, только она не должна знать, что он получен от меня. Потом скандалов не оберешься. Вспомним трех мудрых обезьян: „ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу“. По жизни это мой девиз. Здесь голубые небеса, из окна почти что виден мост через Сиднейскую гавань. Ага, вот и рикша. Мое почтение. Джон Ф.».

Я удивился. Вот уж не ожидал от него такого содействия. Но что я знал о нем «по жизни»? Только то, что подсказывали воспоминания о злополучных выходных столетней давности. Он, как мне казалось, по праву рождения и образования получил передо мной преимущество, которое

без труда поддерживал вплоть до настоящего времени. Помню, Адриан говорил, что читал о Джеке в каком-то студенческом журнале, но не рассчитывал с ним пересечься (впрочем, склеить Веронику он тоже не рассчитывал). А потом добавил уже другим, резким тоном: «Терпеть не могу эту английскую манеру ерничать по поводу серьезных вещей». Я так и не узнал — как дурак, постеснялся спросить, — к чему это относилось.

Говорят, время настигает каждого. Надо думать, время настигло Братца Джека и наказало его за несерьезность. Теперь я ловил себя на том, что придумываю для брата Вероники какую-то другую судьбу, в которой студенческие годы виделись ему как время счастья и надежд, и более того — как единственный и краткий отрезок жизни, когда он достиг желанного ощущения гармонии. Мне не составило труда вообразить, как Джек после окончания университета по блату пристроился на теплое местечко в крупной транснациональной компании. Как поначалу преуспевал, а потом стал незаметно терять свои позиции. Светский молодой человек с приятными манерами, он был лишен того драйва, без которого не пробиться в меняющемся мире. Его разбитные заключительные фразы и буквой, и

духом выдавали — как я понял чуть позже — не столько искушенность, сколько неприспособленность. Возможно, его и не выперли на пенсию, но упоминания о разъездах и частичной занятости говорили сами за себя. Не исключено, что он стал каким-нибудь выездным представителем, который в больших городах остается на подхвате у начальства, а в малых решает текущие вопросы. Перестроив свою жизнь, он нашел реальный способ создавать видимость успеха. «Из окна почти что виден мост через Сиднейскую гавань». Так и вижу, как он сидит с ноутбуком на коленях в открытом кафе, потому что работать в номере отеля, где звездность куда ниже его притязаний, совсем уж тошно.

Не знаю, бывают ли в крупных фирмах такие должности, но придуманный портрет смотрелся вполне убедительно. Я даже выселил Братца Джека из особняка, примыкающего к полю для гольфа. Жалости к нему, естественно, у меня не было. А самое главное — я понимал, что ничего ему не должен.

«Дорогая Вероника, — начал я. — Твой брат любезно сообщил мне этот электронный адрес…»

Сейчас пришло в голову: разница между молодостью и старостью заключается, среди прочего,

в том, что молодые придумывают для себя будущее, а старики — прошлое.

У его отца был «хамбер суперснайп». Теперь машинам не дают таких названий, вы заметили? У меня, например, «фольксваген-поло». Но «хамбер суперснайп» слетало с языка без запинки, как «Отче наш». «Хамбер суперснайп». «Армстронг-Сидли сапфир». «Джоветт-джавелин». «Дженсен-интерсептор». И еще «вулсли-фарина» и «хиллман-минкс».

Не поймите превратно. Автомобили меня не интересуют, ни современные, ни раритетные. Просто любопытно, почему здоровенный седан назвали «снайп», то есть «бекас», — уж не в честь ли мелкой промысловой птички? А «минкс», то бишь «рысь», — в честь коварной хищницы? Но докапываться не собираюсь. Сейчас неохота ломать голову.

А в то же время я часто задумываюсь о том, что такое ностальгия и свойственна ли она мне лично. Естественно, меня не прошибает слеза при мысли о какой-нибудь любимой игрушке; не придумываю себе и сентиментальных воспоминаний о том, чего не было, — например, о любви к прежним порядкам и так далее. Но если ностальгия означает неотступные воспоминания о

сильных чувствах, которым в нашей жизни нынче нет места, — тогда, признаюсь, грешен. Меня преследует ностальгия по нашему с Маргарет медовому месяцу, по тому времени, когда у нас родилась и стала подрастать Сьюзи, по той поездке, в которой я встретил Энни. А коль скоро речь зашла о сильных чувствах, ностальгия, видимо, предполагает не только пережитую радость, но и пережитую боль. А это уже совершенно другой ракурс, вы согласны? И тут я вплотную подхожу к истории с мисс Вероникой Форд.

«Кровавые деньги?»

Я таращился на экран, ничего не понимая. Она стерла мое сообщение и заголовок, даже не подписалась и прислала одну эту фразу. Пришлось залезать в «отправленные», чтобы перечесть свое письмо и попытаться установить, к чему относятся эти два слова: они, единственно, могли служить ответом на мой вопрос — почему ее мать завещала мне пятьсот фунтов. Но что толку? Никто ведь не убит. Да, мое самолюбие пострадало, это правда. Но не хотела же Вероника сказать, что матушка собиралась деньгами залечить ту рану, которую нанесла мне ее дочь? Или как раз это и подразумевалось?

Но в то же время было вполне логично, что

Вероника не ответила попросту, не сделала и не сказала ничего такого, на что я рассчитывал. В этом смысле она вполне соответствовала моим воспоминаниям. Конечно, временами у меня возникало искушение представить ее загадочной женщиной, в противоположность Маргарет, женщине прозрачной, которая стала моей женой. Действительно, с Вероникой было непонятно, на каком я свете, что у нее на уме и на сердце, каковы ее мотивы. Но загадочность — это тайна, которую хочется разгадать, а меня совершенно не тянуло разгадывать тайны Вероники: поезд уже ушел. Она и сорок лет назад была чертовски крепким орешком, и нынче, судя по этим двум словам, напечатанным двумя пальцами, ничуть не смягчилась. Это я решил зарубить себе на носу.

А почему, собственно, мы ожидаем, что с возрастом человек должен смягчиться? Если жизнь не раздает заслуженные награды, почему она должна под конец дарить нам теплые, утешительные чувства? И вообще, играет ли ностальгия хоть какую-то роль в эволюции личности?

Один мой знакомый окончил юридический, но потом разочаровался и никогда не работал по специальности. Так вот, он мне сказал, что потраченные впустую годы дали ему единственное

преимущество: он больше не боялся ни закона, ни законников. Эта позиция применима и к другим сферам, ведь так? Больше знаний — меньше страха. «Знания» — не в смысле академического образования, а в смысле практического понимания жизни.

Так и я — столько времени встречался с Вероникой, что перестал ее бояться. И повел наступление по электронной почте. Я решил соблюдать вежливость, воздерживаться от колкостей, проявлять настойчивость и занудство, выказывать дружеское расположение — одним словом, лгать. Конечно, стереть электронное сообщение — это секундное дело, но и отправить следующее тоже недолго. Я собирался взять ее измором, чтобы только получить дневник Адриана. У меня в груди не бушевало неугасшее пламя — я сказал Маргарет чистую правду. Что же касается ее общих рекомендаций, признаюсь: статус бывшего мужа хорош тем, что позволяет не оправдываться. И не следовать советам.

Я сразу понял, что Вероника сбита с толку моим отношением. Иногда она отвечала кратко и неприветливо, иногда не отвечала вовсе. Думаю, она была бы не в восторге, если бы узнала, что подтолкнуло меня к такому плану. Когда наш

с Маргарет брак уже близился к завершению, солидный загородный дом, где мы жили, стал мало-помалу приходить в упадок. Стены пошли трещинами, крыльцо и фасад облупились. (Нет-нет, я не считаю это символичным.) Страховая компания закрыла глаза на небывалую летнюю жару и объявила, что всему виной старая липа, росшая у нас в саду. Это дерево не отличалось красотой, да я им и не особенно дорожил: оно заслоняло окна гостиной, сбрасывало на асфальт нечто липкое и свешивалось ветвями на улицу, а облюбовавшие его голуби гадили на припаркованные машины. И больше всего доставалось нашей. Но я из принципа отказывался спилить эту липу: не потому, что заботился о сохранности зеленых насаждений, а потому, что не собирался потакать невидимым бюрократам, ясноглазым дендрологам и туманным теориям страховых компаний. А кроме того, Маргарет была влюблена в эту липу. Оставалось только готовиться к длительной осаде. Я высказал несогласие с заключением дендролога и потребовал вырыть на участке дополнительные смотровые ямы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие корневых отростков в непосредственной близости от фундамента; оспорил данные о синоптической

ситуации, сослался на скользящую толщу лондонской глины, упомянул региональный запрет на использование шлангов и много чего еще. Сохраняя ледяную вежливость, я копировал суконный язык моих оппонентов, скрупулезно прикладывал к каждому новому письму копии всех предыдущих, приглашал все новые комиссии и предлагал рационализировать труд персонала. Каждое мое письмо содержало новый запрос, который страховщики поневоле рассматривали, тратя свое время. Если ответа не поступало, в моем следующем письме появлялась не копия запроса, а отсылка на третий или четвертый абзац моего обращения от семнадцатого числа текущего месяца, чтобы этим крючкотворам пришлось в который раз перешерстить разбухающую папку. Я старался выглядеть в их глазах не каким-нибудь идиотом, а занудливым, прилипчивым педантом. Забавно было воображать охи и вздохи, встречавшие мое очередное письмо; я же понимал, что рано или поздно страховщики прекратят эти бессмысленные препирательства. В конце концов они потеряли всякое терпение и сами предложили ограничиться уменьшением кроны дерева на тридцать процентов; я принял это с выражениями глубокого сожаления, но с

большим внутренним ликованием.

Веронике, как я и предвидел, не улыбалось оказаться в положении этих страховщиков. Избавлю вас от скучных подробностей нашей с нею переписки, сообщу только первый практический результат. Мне пришло письмо от Элинор Мэрриотт, к которому прилагался, говоря ее словами, «фрагмент оспариваемого документа». Душеприказчица выражала надежду, что в течение ближайших месяцев мои права наследования удастся восстановить в полном объеме. Я счел это весьма оптимистичным.

«Фрагмент» оказался ксерокопией фрагмента. Но я, даже по прошествии сорока лет, не усомнился в его подлинности. У Адриана был характерный наклонный почерк с оригинальной буквой «д». Стоит ли говорить, что Вероника прислала мне отрывок без начала и конца, даже не сообщив, из какого места дневника взяла эту страницу. Если вообще слово «дневник» подходит для обозначения каких-то пронумерованных абзацев. Вот что я прочел:

5.4. Проблема аккумуляции. Если на кону жизнь, то каковы ставки? На ипподроме есть особая ставка, «аккумулятор». Она суммируется с при-

былью, полученной от выигрыша одной лошади, и тем самым увеличивает следующую ставку.

5.5. Тогда: а) Могут ли человеческие отношения быть выражены математической или логической формулой? И б) Если да, то какие знаки допустимы между целыми величинами? Плюс и минус, это само собой; в ряде случаев — знак умножения и, пожалуй, деления. Но число этих знаков ограниченно. Следовательно, абсолютно неудовлетворительные отношения можно представить в виде потери/минуса и деления/вычитания, дающих в итоге нуль; тогда как полностью удовлетворительные отношения можно представить как в виде сложения, так и в виде умножения. А отношения, наблюдаемые в большинстве случаев? Может быть, для них нужна особая запись, логически невероятная и математически не решаемая?

5.6. Тогда как выразить аккумуляцию целых величин P, A_1, A_2, C, B:

$$P = C - B \overset{\times}{+} A_1$$

или

$$A_2 + B + A_1 \times C = P?$$

5.7. Или такая постановка вопроса и запись аккумуляции некорректны? Неужели применение логики к человеческой природе изначально обречено на провал? Что ждет цепочку аргументов, если ее звенья сделаны из металлов различной ломкости?

5.8. Или «звено» — ложная метафора?

5.9. Но допустим, мы ее приняли: если одно звено лопнуло, на чем лежит ответственность за разрыв? На звеньях, непосредственно примыкающих к лопнувшему, или же на всей цепочке? Но что понимается под «всей цепочкой»? Далеко ли простираются границы ответственности?

6.0. Можно также попытаться рассмотреть личную ответственность более узко и локализовать ее более точно. Обойтись без уравнений и целых величин, а вместо этого выразить всю проблему в традиционной повествовательной форме. Так, например, если бы Тони…

На этом ксерокопия, эта версия версии, обрывалась. «Так, например, если бы Тони…» — конец строки, конец страницы. Хорошо, что я мгновенно узнал почерк Адриана, а то мог бы подумать, что эта повисшая в воздухе фраза — часть хитроумной фальшивки, состряпанной Вероникой.

Но мысли о Веронике пришлось оставить — по

крайней мере, до поры до времени. Сейчас я постарался сосредоточиться на Адриане и его поступках. Не знаю, как лучше выразиться, но эта ксерокопия не создавала у меня впечатления исторического документа, который требует особого толкования. Нет, у меня было ощущение, будто Адриан снова рядом, сидит в этой комнате, дышит, размышляет.

И по-прежнему вызывает мое восхищение. Иногда я пытаюсь представить степень отчаяния, которое толкает человека на самоубийство, и мое воображение рисует темную, склизкую трясину, где лишь смерть видится лучом света: другими словами, абсолютную противоположность нормальному человеческому состоянию. Но в этом документе (содержащем, как я решил на основании одной-единственной страницы, рациональные доводы Адриана в пользу собственного самоубийства) автор воспользовался светом, чтобы достичь еще большего света. Есть ли здесь какой-то смысл?

По всей вероятности, психологи где-то составили график зависимости интеллекта от возраста. Не график мудрости, прагматичности, организованности, сообразительности — показателей, которые с течением времени размывают наше

понимание вопроса. Нет, график чистого интеллекта. В моем представлении, пик интеллекта достигается в промежутке от шестнадцати до двадцати пяти лет. Страница из дневника напомнила мне, каким был Адриан в этом возрасте. Когда мы беседовали и спорили, можно было подумать, что наведение порядка в мыслях — его предназначение, что работа мозга для него так же естественна, как для спортсмена — работа мускулатуры. И так же как спортсмен подчас встречает победу с любопытным сочетанием гордости, неверия и скромности — это сделал я, но как? сам? или мне помогли другие? или все от Бога? — так и Адриан, когда вел нас по пути своих мыслей, будто бы сам не мог до конца поверить легкости, с которой проделывал этот путь. Он достиг некоего просветления, но при этом никогда не заносился. В его присутствии можно было молчать, но все равно ощущение было такое, будто ты рассуждаешь вместе с ним. И как ни странно, меня снова охватило это чувство единения с тем, кто, уйдя в мир иной, по-прежнему — хотя я и прожил на несколько десятков лет дольше — мог дать мне сто очков вперед.

Не только в плане чистого интеллекта, но и прикладного. Я начал сравнивать свою жизнь с

жизнью Адриана. С точки зрения способности видеть и анализировать самого себя; способности принимать нравственные решения и действовать сообразно им; душевной и физической смелости, необходимой для совершения самоубийства. Как говорят в таких случаях, «он расстался с жизнью»; но Адриан сам отвечал за собственную жизнь, направлял ее, держал под контролем и только потом решил с ней расстаться. Многие ли из ныне живущих могут сказать, что идут по жизни точно так же? Мы движемся наобум, плывем по течению, постепенно обрастая грузом воспоминаний. Здесь тоже видится вопрос аккумуляции, но не в том смысле, который вкладывал в это слово Адриан: в нашем случае это простое добавление и суммирование житейских событий. Но, как заметил поэт, добавление и рост — это не одно и то же.[27]

Выросла ли моя жизнь или просто суммировалась? Вот на какой вопрос натолкнул меня отрывок из дневника Адриана. В моей жизни определенно имело место сложение (равно как и

[27] Примечания: 27

…как заметил поэт, добавление и рост — это не одно и то же. — Перефразированная цитата из стихотворения Ф. Ларкина «Доккери и сын», повествующего о смерти друга, у которого примерно в девятнадцать лет родился сын, и о безвозвратно утраченных возможностях.

вычитание), но сколько было умножения? От этого вопроса у меня в мыслях начался сумбур, хаос.

«Так, например, если бы Тони…» В контексте сорокалетней давности эти слова несли совершенно определенный смысл; возможно, когда-нибудь я вынесу — или выведу — из них упрек, нелицеприятную оценку со стороны моего прозорливого и самокритичного старинного друга. Но теперь они звучали в более широком смысле: применительно ко всей моей жизни. «Так, например, если бы Тони…» В таком ракурсе это высказывание было практически завершенным и не требовало пояснений в последующем главном предложении. Да, действительно, если бы Тони был более проницательным, более решительным, придерживался истинных ценностей, не удовлетворялся пассивной бесконфликтностью, которую вначале называл счастьем, а впоследствии — удовлетворением. Если бы Тони был смел, если бы не полагался на чужое мнение в оценке самого себя… и так далее, по списку гипотетических предположений, ведущих к заключительному: так, например, если бы Тони не был Тони.

Но Тони был и есть Тони — он пробавлялся собственным упрямством. Письмами в страховые

компании, сообщениями Веронике. Кто меня достает, того и я достану. Веронику я доставал по электронной почте, писал ей практически через день, причем разнообразил тон этих сообщений — то шутливо понукал: «Давай, детка, будем поступать по справедливости!», то докапывался до неоконченной фразы Адриана, то проявлял полуподдельный интерес к ее жизни. А все для того, чтобы она, проверяя почту, всякий раз чувствовала: я тут как тут; чтобы знала, удаляя мои сообщения, что я это предвижу и ничуть не удивлюсь, а уж тем более не расстроюсь. И что я жду. «Время на моей стороне, да, это так…» У меня не было ощущения, что я ее преследую; я просто хотел получить то, что мне причиталось. И вот однажды утром я увидел результат.

«Завтра буду в городе, встретимся в три на Шатком мосту, посредине».

Это превзошло мои ожидания. Я думал, она все вопросы будет решать дистанционно, при помощи адвокатов и молчания. Возможно, у нее переменилось настроение. Или я уже влез ей под кожу. Как, в общем-то, и собирался.

Шатким мостом прозвали новый пешеходный мост через Темзу, между собором Святого Павла и галереей современного искусства «Тейт Модерн».

В день открытия мост слегка дрожал: то ли от ветра, то ли от множества шагавших по нему ног, то ли от того и другого; британские журналисты и эксперты по полной программе осмеяли архитекторов и проектировщиков, которые не ведали, что творят. А мне этот мост сразу приглянулся. Мне даже понравилось, что он дрожит. Я считал, что нам не вредно вспомнить о шаткости бытия. Впоследствии его укрепили, он перестал шататься, но прозвание осталось — не знаю, надолго ли. Можно было только гадать, почему Вероника выбрала такое место встречи. И заставит ли себя ждать, и с какой стороны появится.

Но она меня опередила. Я узнал ее издалека: миниатюрность и поза не оставляли сомнений. Интересно, что по осанке можно узнать кого угодно. А в ее случае… как бы выразиться? Может ли человек стоять нетерпеливо? Она не переминалась с ноги на ногу, но, судя по очевидному напряжению, ей вовсе не улыбалось там находиться.

Я взглянул на часы. Пришел минута в минуту. Мы посмотрели друг на друга.

— Полысел, — сказала она.

— Такое бывает. Зато сразу видно, что не алкоголик.

— Никто и не говорит, что ты алкоголик. Сядем вот туда. На скамейку.

Она двинулась вперед, не дожидаясь ответа. Шла она стремительно, и мне пришлось бы немного пробежаться, чтобы ее догнать. Но я не хотел доставлять ей этого удовольствия и отстал на несколько шагов, следуя за ней в сторону пустой скамейки, повернутой к Темзе. Был не то прилив, не то отлив — я не разобрался, потому что поверхность воды бередил порывистый боковой ветер. Небо над нами было серым. Туристы, очевидно, почти все разошлись; сзади прогрохотал роллер.

— Почему тебя считают алкоголиком?

— Никто так не считает.

— Тогда к чему ты завел этот разговор?

— Я не заводил. Ты сказала, что я полысел. А практика показывает, что неумеренное потребление алкоголя почему-то препятствует выпадению волос.

— Действительно?

— Ты когда-нибудь наблюдала лысых алкоголиков?

— Делать мне больше нечего.

Скосив глаза в ее сторону, я подумал: «А ты совсем не изменилась — в отличие от меня». А

между тем, как ни странно, такая пикировка вызывала у меня почти ностальгические чувства. Почти. В то же время я подумал: «Видок-то у тебя — прямо скажем, не очень». На ней была твидовая юбка, каким нет сносу, и потрепанный синий плащ; волосы, даже со скидкой на речной ветер, выглядели неопрятно. Они были той же длины, что и сорок лет назад, но с заметной проседью. Можно даже сказать, седые волосы с редкими каштановыми прядями. Как говаривала Маргарет, женщины часто совершают эту ошибку — ходят с той же прической, что и на пике своей привлекательности. Оставляют — хотя это уже давно неуместно — длинные волосы, а все потому, что боятся радикальных перемен. Вероятно, это относилось и к Веронике. А может, ей просто было все равно.

— Ну? — сказала она.

— Ну? — повторил я.

— Ты просил о встрече.

— Разве?

— То есть нет?

— Ну, раз ты говоришь, значит, да.

— Так да или нет? — спросила она, вставая со скамейки и принимая, да, нетерпеливую позу.

Я намеренно не реагировал. Не предлагал ей

сесть и сам не поднимался на ноги. Захочет уйти — уйдет в любом случае: удерживать не имело смысла. Она смотрела вниз, на воду. Сбоку на шее виднелись три родинки — помнил я их или нет? Теперь из каждой рос длинный волос, и на свету это было особенно заметно.

Ни вежливых фраз, ни рассказов о себе, ни воспоминаний. Ладно, к делу.

— Можешь отдать мне дневник Адриана?

— Не могу, — ответила она, не глядя в мою сторону.

— Почему?

— Я его сожгла.

Не кража, так поджог, отметил я, накаляясь. Но тут же приказал себе и дальше обращаться с ней как с той страховой компанией. И спросил по возможности бесстрастно:

— Зачем?

У нее по щеке пробежал тик, но я не понял, улыбнулась она или поморщилась.

— Чужие дневники читать нехорошо.

— Но твоя мать, судя по всему, его читала. Да и ты тоже — чтобы решить, какую страницу мне отправить.

Нет ответа. Зайдем с другого боку.

— Кстати, как заканчивается то предложение?

Ну, ты знаешь: «Так, например, если бы Тони…»?

Пожала плечами, нахмурилась.

— Чужие дневники читать нехорошо, — повторила она. — А вот это при желании можешь прочесть.

Она вытащила из кармана плаща какой-то конверт, сунула его мне, развернулась и ушла.

Дома я первым делом просмотрел свои отправленные сообщения: естественно, ни о какой встрече я ее не просил. Разве что косвенно.

Мне вспомнилось, какую реакцию вызвали у меня возникшие на экране слова: «кровавые деньги». Тогда я сказал себе: никто ведь не убит. Мои мысли были только о нас с Вероникой. Я упустил из виду Адриана.

А потом до меня дошло еще кое-что: ошибка или статистическая аномалия в сентенции Маргарет насчет прозрачных и загадочных женщин, точнее, во второй части этой сентенции, где говорилось, что одних мужчин влечет первый тип, других — второй. Меня тянуло и к Веронике, и к Маргарет.

Помню, на исходе отрочества мой разум пьянили авантюрные мечты. Вот я вырасту. Отправлюсь туда-то, совершу то-то, сделаю открытие, полюблю одну, потом другую, третью. Буду жить,

как живут и жили герои книг. Каких именно — я точно не знал, но верил, что познаю страсть и опасность, наслаждение и отчаяние (чем дальше, тем больше я склонялся к наслаждению). Однако… кто это писал, что искусство высвечивает ничтожность жизни? В какой-то момент, на подходе к тридцатнику, я признался себе, что весь мой авантюризм давно улетучился. Того, о чем мечтало мое отрочество, мне не видать как своих ушей. Я буду подстригать лужайку, ездить в отпуск, проживать жизнь.

Но время… Сначала оно преподает нам урок, а после скручивает в бараний рог. Мы считали, что проявляем зрелость, а на самом деле — всего лишь осторожничали. Воображали, что связаны ответственностью, а на самом деле трусили. То, что мы называли реалистичностью, оказалось лишь способом уклонения от проблем, а не способом их решения. Время… дать нам достаточно времени — и все наши самые твердые решения покажутся шаткими, а убеждения — случайными.

Больше суток я не открывал конверт, полученный от Вероники. Она-то наверняка воображала, что я ждать не буду и кинусь его распечатывать еще до того, как она скроется из виду. Но я знал,

что вряд ли найду в конверте то, что мне нужно, — например, ключ от камеры хранения, где меня дожидается дневник Адриана. В то же время в назидательной реплике насчет того, что чужие дневники читать не полагается, мне слышалась какая-то фальшь. Я считал, что Вероника вполне способна пойти на поджог, чтобы наказать меня за грехи и ошибки прошлого, но уж никак не во имя каких-то эфемерных правил порядочности.

Меня озадачило ее предложение встречи. Почему было не отправить конверт обычной почтой, чтобы избежать встречи, которая явно ее тяготила? Зачем этот тет-а-тет? Неужели ей было любопытно взглянуть на меня спустя годы, пусть даже увиденное и заставило ее содрогнуться? Мне это показалось очень сомнительным. Я прокрутил в памяти все десять минут нашего свидания — выбор места, перемену места, ее нетерпеливое желание уйти и оттуда, и отсюда, все сказанное и недосказанное. В конце концов у меня созрела теория. Если для того, что сделано (то есть для передачи конверта), личной встречи не требовалось, значит, встреча потребовалась для того, что сказано. А сказано было, что Вероника сожгла дневник Адриана. Но для чего понадобилось облекать это в слова на берегу серой Темзы? Да для

того, чтобы потом отвертеться. Ей не хотелось оставлять улику в виде распечатанного письма. Если она может лживо заявлять, что о встрече просил я, то запросто будет отрицать и тот факт, что сама призналась в сожжении.

Придумав это гипотетическое объяснение, я дождался вечера, поужинал, налил себе еще один бокал вина и взялся за конверт. На нем не было моего имени: опять хотела отвертеться? Не передавала я ему никакого конверта. Мы с ним вообще не встречались. Он обыкновенный интернет-маньяк, виртуальный приставала, выдумщик лысый.

По каемке серого, переходящего в черный, я сразу понял, что это очередной ксерокс. Да что с ней такое? Она принципиально избегает подлинников? Тут я обратил внимание на проставленную вверху дату и еще на почерк: мой собственный, каким он был в незапамятные времена. «Здравствуй, Адриан», — начиналось письмо. Я прочитал его от начала до конца, встал, взял свой бокал и, довольно много расплескав, перелил вино обратно в бутылку, а себе налил изрядную порцию виски.

Часто ли нам доводится рассказывать историю собственной жизни? Часто ли приходится ее

корректировать, приукрашивать, ловко подравнивать? И чем дальше, тем меньше остается вокруг людей, которые могли бы оспорить нашу версию, напомнить, что наша жизнь — вовсе даже не жизнь, а просто история, рассказанная о жизни. Рассказанная нами для других, но в первую очередь для себя.

Здравствуй, Адриан,
вернее,
здравствуйте, Адриан и Вероника
(привет, Сучка, приятного тебе чтения).

Вы, конечно, друг друга стоите, и я желаю вам много радости. Надеюсь, вы спутаетесь крепко-накрепко, чтобы нанесенные друг другу раны не зажили никогда. Надеюсь, вы пожалеете о том дне, когда я вас познакомил. И еще надеюсь, что после расставания (а оно неизбежно, я даю вам полгода, но ваша обоюдная гордыня растянет эти отношения до года, чтобы окончательно вас затрахать) вам останется только яд, который будет отравлять все ваши отношения с другими. Что-то во мне даже надеется, что у вас будет ребенок, потому что я свято верю в месть времени, которое будет карать ваших потомков до седьмого колена. См. «Великое Искусство». Но

месть должна попадать в точку (ведь вы не объекты великого искусства, а лишь смехотворные карикатуры). Поэтому я не желаю, чтобы кара пала на вас. А обрекать невинный плод на такую участь — знать, что он порождение ваших чресл, уж простите за высокопарность, — было бы неоправданной жестокостью. Так что не забывай натягивать «дюрекс» на его тощий болт, Вероника. Или, может быть, до этого пока не дошло?

Ладно, довольно любезностей. Хочу сказать несколько слов каждому из вас в отдельности.

Адриану. Ты, конечно, уже знаешь, что она — динамщица. Впрочем, осмелюсь предположить: ты убедил себя, что она вступила в Великую Борьбу со своими принципами, в которой ты, используя свои философские извилины, несомненно, поможешь ей победить. Если она еще не согласилась на «полную близость», гони ее, и она сама прибежит в мокрых трусах и с пачкой презиков, мечтая тебе отдаться. Но она динамщица и в переносном смысле: она будет выматывать тебе душу, а свою не откроет. Точный диагноз — который может меняться день ото дня — пусть ставят всякие мозговеды, а я лишь замечу, что она не способна представить себе чужие чувства или духовную жизнь. Недаром ее родная мать меня

предостерегала. Я бы на твоем месте встретился с ее мамашей и расспросил про старые раны. Это, конечно, придется делать у Вероники за спиной, потому что наша девушка любит всех контролировать. Ах да, она ведь еще, как ты знаешь, одержима снобизмом и связалась с тобой только потому, что ты без пяти минут выпускник Кембриджа. Помнишь, как ты презирал Братца Джека и его гламурный кружок? Уж не хочешь ли ты к ним переметнуться? Но не забывай: пройдет время — и она от тебя отвернется, как сейчас отвернулась от меня.

Веронике. Какое занятное получается общее письмецо. Твоя злоба соединилась с его самодовольством. Вот уж точно, таланты нашли друг друга. Твои светские и его интеллектуальные амбиции. Но не думай, что сумеешь обдурить Адриана, как обдурила (на время) меня. Я вижу твою тактику: изолировать его, отрезать от старых друзей, чтобы он во всем зависел от тебя — и так далее, и тому подобное. На какое-то время это подействует. Ну а в перспективе? Вопрос только в том, успеешь ли ты забеременеть, пока он не поймет, что ты зануда. И даже если тебе удастся его захомутать, жди постоянных придирок, вечного утреннего недовольства, зевоты при виде

твоих ужимок. Я сейчас до тебя добраться не могу, а вот время сможет. Время все расставит по местам. Иначе и быть не может.

Всего наилучшего, и да прольется кислотный дождь на ваши соединенные и помазанные головы.

Тони

Я считаю, что виски проясняет голову. И притупляет боль. В дополнение к этим достоинствам, оно еще и опьяняет, а если употребить его в достаточных количествах, опьяняет очень сильно. Я перечитал это письмо несколько раз. Едва ли я мог оспорить его авторство или омерзительность. В свое оправдание я мог лишь сказать, что был его автором тогда, но не сейчас. Я даже не узнавал в себе тех дебрей, из которых вышло это письмо. А может, все еще продолжал обманываться.

Сначала я думал в основном о себе и о том, кем — или каким — был в молодости: ревнивым и злобным хамом. О том, как пытался расстроить их отношения. Хорошо еще, что из этого ничего не вышло: ведь мать Вероники заверила меня, что в последние месяцы жизни Адриан был счастлив. Не то чтобы это меня оправдывало. Ко мне вернулось молодое «я», чтобы поразить меня, немолодого, зрелищем себя, прежнего, да и

нынешнего тоже — каким я способен быть, пусть и не все время. А ведь совсем недавно я разглагольствовал про то, как количество свидетелей нашей жизни сокращается, а с ними исчезают и главные доказательства. Теперь у меня в руках оказалось совершенно непрошеное свидетельство того, каков я есть и каким был. Лучше бы Вероника сожгла не что-нибудь, а этот документ.

Затем я подумал о ней. Не о том, какие чувства она, должно быть, испытала по прочтении этого письма — об этом я и так все время думаю, — а о том, с какой целью она мне его передала. Понятно — чтобы указать, какое я дерьмо. Но мне подумалось, что не все так просто: учитывая, что наши дела зашли в тупик, это был еще и тактический ход, предупреждение. Надумай я устроить тяжбу из-за дневника, сторона защиты могла дать ход этому письму. Тогда я бы стал очень специфическим свидетелем против самого себя.

Вслед за тем я подумал об Адриане. О моем старом друге, который покончил с собой. И вот такое-то письмо стало для него последней вестью от меня. Клевета на него самого и попытка разрушить первый и последний в его жизни роман. А когда я писал, что время все расставит по местам, я кое-что недооценил, вернее, просчитался: время

поставило на место одного меня.

И наконец, я вспомнил открытку, которую отправил Адриану в качестве предварительного ответа на его письмо. Написанную в делано-равнодушном тоне: мол, возражений нет, дружище. На открытке был изображен Клифтонский подвесной мост. С которого каждый год люди бросаются вниз, навстречу смерти.

Наутро, проспавшись, я снова подумал о нас троих и о многочисленных парадоксах времени. Например, когда мы молоды и чувствительны, мы также наиболее безрассудны; а с замедлением тока крови, когда чувства притупляются, когда мы уже примеряем панцирь и учимся держать удар, наша поступь становится осторожнее. Пусть сейчас я и пытался влезть Веронике под кожу, но никогда не стал бы медленно и мучительно растравлять ей душу.

Задним числом понимаю: их решение сообщить мне о своем романе вовсе не было жестоким. Просто момент был неудачный, да к тому же мне показалось, что это козни Вероники. Отчего я так взорвался? От уязвленного самолюбия, от предэкзаменационного стресса, от одиночества? Все это пустые отговорки. Нет, сейчас я испытывал не стыд, не чувство вины, а кое-что более редкое в

моей жизни, сильнее и того и другого: угрызения совести. Чувство более сложное, запутанное, первобытное. Главная его особенность в том, что ничего нельзя с ним поделать: слишком много воды утекло, слишком большой вред был причинен, чтобы что-то исправить. Несмотря на это, сорок лет спустя я написал Веронике сообщение, в котором извинялся за свое письмо.

Затем мысли снова обратились к Адриану. С самого начала он видел вещи более отчетливо, чем любой из нас. Пока мы упивались подростковым скепсисом, полагая, что вечное неудовольствие — это весьма оригинальная реакция на условия человеческого существования, Адриан уже видел дальше и шире. Он и жизнь чувствовал острее, хотя — а может, поскольку — решил, что игра не стоит свеч. По сравнению с ним я всегда был остолопом, неспособным усвоить те немногие уроки, которые преподносила мне жизнь. В моем понимании, я мирился с реальностью и принимал ее правила: если А, то Б — так и годы прошли. В понимании Адриана, я поставил на жизни крест, отказался от возможности ее исследовать, принял ее как данность. И вот впервые за все годы я испытал угрызения более общего свойства (сродни жалости и ненависти к самому себе) —

по поводу всей своей жизни. Всей без остатка. Я потерял друзей юности. Потерял любовь жены. Отказался от своих заветных устремлений. Захотел, чтобы жизнь меня не дергала, добился своего — и какой мизерный результат.

Середнячок — вот кем я стал после школы. Середнячок и в университете, и на работе; середнячок в дружбе, верности, любви; середнячок — это уж точно — в сексе. Проведенный в Британии опрос автолюбителей показал, что девяносто пять процентов опрошенных оценивают свое водительское мастерство «выше среднего». Но по закону средних чисел большинство из нас должно относиться к среднему уровню. Правда, утешаться здесь особенно нечем. Это слово эхом отдавалось в голове. Середнячок по жизни; середнячок по правде; моральный середнячок. Веронике первым делом бросилось в глаза, что я потерял шевелюру. И это — самая малая потеря.

В ответ на мое извинение Вероника написала: «Неужели не доходит? Впрочем, до тебя никогда не доходило». Я не мог обижаться. Хотя робко мечтал, чтобы она хоть раз назвала меня по имени.

Можно было только гадать, как к ней попало мое письмо. Неужели Адриан все завещал ей? Я даже не знал, оставил ли он завещание.

По-видимому, заложил его между страницами дневника, где она его и нашла. Нет, что-то я запутался. Окажись завещание в дневнике, его бы нашла миссис Форд и уж точно не оставила бы мне пятьсот фунтов.

Непонятно, зачем вообще Вероника взяла на себя труд отвечать на мое электронное послание, разве что хотела выразить всю полноту своего презрения. А может, и нет.

Интересно, накрутила ли она хвост Братцу Джеку, когда тот сообщил мне ее электронный адрес.

После стольких лет я стал задумываться: когда она говорила: «Такое ощущение, что это нехорошо» — не было ли это просто формулой вежливости? Может, она отказывала мне только потому, что наша близость не доставляла ей удовольствия. Может, я когда-нибудь повел себя неуклюже, чересчур нахраписто, эгоистично. Вернее, не «когда-нибудь», а «ненароком».

За сырным пирогом с овощами, за салатом, за десертом из паннакоты с фруктовым пюре Маргарет выслушала мой рассказ об электронных контактах с Джеком, о странице из дневника Адриана, о встрече на мосту, о содержании моего письма и о нынешнем раскаянии. Потом она с легким стуком опустила кофейную чашку на

блюдечко.

— Не влюблен ли ты в Психичку.

— Нет, вряд ли.

— Тони, это не вопрос. Это утверждение.

Я посмотрел на нее с нежностью. Она знала меня, как никто другой. И тем не менее согласилась со мной пообедать. И не перебивала, когда я без конца бубнил о себе. Я улыбнулся той улыбкой, которая, без сомнения, была ей слишком хорошо знакома.

— На днях я собираюсь тебя удивить, — сказал я.

— Да ты меня постоянно удивляешь. Сегодня, например.

— Нет, я тебя удивлю так, чтобы ты стала думать обо мне лучше, а не хуже.

— Я о тебе не стала думать хуже. И о Психичке, между прочим, тоже, хотя мое отношение к ней, честно сказать, — ниже уровня моря.

Маргарет никогда не злорадствует; она даже не стала напоминать, что я пренебрег ее советом. Думаю, ей только приятно мне посочувствовать и лишний раз перекреститься, что она мне больше не жена. Это не подкол. Я действительно так считаю.

— Можно кое-что спросить?

— Ты уже спросил, — ответила она.
— Скажи, ты ушла из-за меня?
— Нет, — сказала она. — Я ушла из-за нас.

С дочкой, не устаю повторять, отношения у меня хорошие. Большего не скажу, но за такую формулировку готов отвечать под присягой. Сьюзи уже тридцать три года; или тридцать четыре? Да, тридцать четыре. Мы с ней ни разу не поссорились с того дня, когда я сидел на передней скамье в дубовом зале мэрии, а потом был свидетелем. Помню, я тогда еще подумал, что теперь она — отрезанный ломоть; вернее, что я сам — отрезанный ломоть. Долг выполнен, единственная дочь благополучно пришвартована у временной пристани брака. Теперь главное — не поддаться Альцгеймеру и не забыть отписать ей все имеющиеся средства. И постараться, в отличие от своих родителей, помереть тогда, когда эти средства действительно будут ей нужны. Как стартовый капитал.

Если бы мы с Маргарет не разбежались, я бы, наверное, стал более заботливым дедом. От Маргарет, естественно, пользы всегда было куда больше, чем от меня. Сьюзи не доверяла мне сидеть с детьми — боялась, что не справлюсь, хоть я и пеленки менять умею, и не только. «Лукас

подрастет — будешь с ним на футбол ходить», — сказала она мне. Да уж: подслеповатый дедушка, сидя на трибуне, обучает мальчонку футбольным премудростям: как ненавидеть парней в форме другого цвета, как изображать травму, как сморкаться на поле — учись, малыш: если одну ноздрю зажать покрепче, то из другой вылетит зеленая сопля. Как раздувать свое тщеславие и огребать заоблачные деньги, как, наконец, убить свою молодость, не успев разобраться, что к чему в этой жизни. Да уж, сплю и вижу, как буду с Лукасом на футбол ходить.

Но Сьюзи не замечает, что я терпеть не могу этот вид спорта — вернее, то, во что он превратился. У нее к эмоциям чисто практический подход, у моей Сьюзи. Это у нее от матери. Так что мои эмоции ее не особо волнуют. Она предпочитает считать, что у меня есть определенные ощущения, и действовать соответственно. В глубине души она винит меня за развод. Как-то так: если мама замутила, значит, папа виноват.

Меняется ли характер с течением времени? В романах — безусловно, иначе писать было бы не о чем. А в жизни? Вопрос интересный. Меняются наши оценки и мнения, появляются новые привычки и странности, но это другое — это скорее

мишура. Характер, наверное, сродни интеллекту, разве что характер чуть позже достигает своего пика: в промежутке между, скажем, двадцатью и тридцатью. А после этого мы довольствуемся тем, что есть. Решаем сами за себя. В этом — объяснение множества судеб, не так ли? И в этом же, напыщенно выражаясь, — наша трагедия.

«Вопрос аккумуляции», написал Адриан. Делаешь ставку, твоя лошадь выигрывает забег, ставка переходит на другую лошадь в другом забеге, и так далее. Выигрыш растет. А проигрыш? На ипподроме — нет: ты просто теряешь первоначальную ставку. А в жизни? Тут, наверное, правила другие. Делаешь ставку на отношения и терпишь неудачу; завязываешь другие отношения — опять крах; и вроде как выходит, что проигрыш исчисляется не двумя вычетами, а перемножением двух твоих ставок. По крайней мере, ощущение именно такое. Жизнь не ограничивается сложением и вычитанием. В ней есть и аккумуляция, умножение потерь и неудач.

Фрагмент из дневника Адриана затрагивает также вопрос об ответственности: выстраивается ли она в цепочку или же должна рассматриваться более узко. Я обеими руками за узкое понимание. Уж извините, но нельзя винить своих покойных

родителей, сокрушаться о наличии (или отсутствии) у нас братьев и сестер, кивать на гены, перекладывать ответственность на общество, на что угодно — в обычных условиях этого делать нельзя. Исходить надо из того, что ответственность лежит на тебе одном, если, конечно, не доказано противоположное. Адриан был куда умнее меня, он апеллировал к логике там, где я полагаюсь на здравый смысл, но мы с ним пришли, сдается мне, примерно к одному и тому же выводу.

Не стану делать вид, будто мне понятно все, что он написал. Я смотрел на эти формулы как баран на новые ворота. Впрочем, я никогда не был силен в математике.

Ничуть не завидую смерти Адриана, но завидую отчетливости его жизни. Не столько из-за того, что он видел, рассуждал, чувствовал и действовал более четко, чем все мы вместе взятые, сколько из-за того, что он четко просчитал свой уход. «Погиб во цвете юности», как говорил директор школы после самоубийства Робсона; и: «Вовеки не состарятся они, а всяк, кто выжил,

обречен на старость».[28] Те из нас, кто выжил, в большинстве своем не имеют ничего против старости. Как по мне — все лучше, чем означенная альтернатива. Нет, я сейчас о другом. Когда тебе чуть за двадцать, даже если ты на распутье, если не уверен, каковы твои устремления и цели, у тебя есть твердое понимание сущности жизни, твоего места в ней, твоих перспектив. А позднее… позднее становится все больше неуверенности, больше наслоений, возвратов, обманных воспоминаний. Пока молодой, ты помнишь свою короткую пока еще жизнь всю целиком. Позднее память рассыпается на латаные-перелатаные лоскуты. В чем-то она смахивает на черный ящик, который хранится в самолете. Пока все идет хорошо, запись стирается автоматически. Если случится авиакатастрофа, можно будет установить ее причину; если же полет завершится благополучно, то в бортовом журнале не останется внятных подробностей твоего путешествия.

Или другими словами. Кто-то сказал, что в истории ему наиболее интересны те эпохи, когда рушится мир, потому что это означает рождение

---

[28] Примечания: 28

«Вовеки не состарятся они, а всяк, кто выжил, обречен на старость». — Цитата из стихотворения «Павшим», входящего в «Оду поминовению» (1914) английского поэта Лоренса Биньона (1869–1943).

чего-то нового. Приложимо ли это к истории отдельного человека? Умереть, когда рождается нечто новое, даже если это новое — наша глубинная сущность? Все политические и исторические перемены рано или поздно вызывают разочарование; точно так же и зрелые годы. Точно так же — и сама жизнь. Подчас мне кажется, что цель жизни состоит в том, чтобы подготовить нас к неизбежному расставанию с ней, подточить наши силы, доказать, пусть не вдруг, что жизнь не так уж хороша, как о ней думают.

Представьте себе человека, который поздно ночью, малость под мухой, сочиняет письмо своей старинной подруге. Надписав конверт и наклеив марку, он с трудом находит пальто, бредет к почтовому ящику, сует письмо в щель, плетется домой и падает в кровать. Скорее всего, на трезвую голову он бы никуда не потащился. Оставил бы письмо на видном месте, чтобы отправить утром. А утром, вполне возможно, стал бы терзаться сомнениями. Так что давайте отдадим должное электронной почте за непосредственность, искренность и даже за необдуманность. Мой ход мыслей (если позволительно так выразиться) был таков: почему я должен верить Маргарет, которая свечку не держала и полага-

ется только на свои предубеждения? Я тут же написал Веронике. Тему сообщения обозначил как «Вопрос», а сам вопрос звучал следующим образом: «Как ты считаешь, был ли я тогда в тебя влюблен?» Поставил внизу свой инициал и поспешил щелкнуть на «Отправить», пока не передумал.

Вот уж никак не ожидал, что ответ придет на следующее утро. На этот раз она не стерла мою тему. В ее сообщении говорилось: «Если тебе приспичило задать этот вопрос, то ответ „нет“. В.».

О моем умонастроении свидетельствует тот факт, что я счел такой ответ нормальным и даже обнадеживающим.

И уж не знаю, о чем свидетельствовал мой первый порыв: я набрал номер Маргарет и рассказал ей про этот обмен письмами. Помолчав, моя бывшая спокойно ответила:

— Решай сам, Тони.

Возможно, конечно, изложить это по-другому; такое всегда возможно.

Например, с позиций презрения и нашей ответной реакции. Братец Джек мне высокомерно подмигнул, и через сорок лет я пустил в ход все свое обаяние (ох нет, не будем преувеличивать: я пустил в ход притворную вежливость), чтобы

вытянуть из него информацию. А потом не моргнув глазом его предал. Получи мое презрение в ответ на свое. Хотя допускаю, что в ту пору он испытывал ко мне даже не презрение, а равнодушие, смешанное с любопытством. Ага, сестренка притащила своего очередного — ну, не он первый и, естественно, не он последний. Проходной вариант, не стоящий внимания. Но я-то, я расценил это как презрение, намотал на ус и отплатил той же монетой.

А с Вероникой я, наверное, пытался действовать по-другому: не отвечать презрением на ее презрение, а преодолевать его. В этом, как видите, есть особая притягательность. Потому что, перечитав свое старое письмо, прочувствовав его хамство и агрессивность, я испытал глубокое душевное потрясение. Если даже она поначалу и не презирала меня, то определенно запрезирала, когда Адриан показал ей, что я написал. И определенно пронесла это презрение сквозь годы и пустила его в ход, чтобы оправдать сожжение дневника.

Как я говорил, причем с полной уверенностью, основное свойство угрызений совести заключается в том, что с ними ничего нельзя поделать: время для извинений и примирений ушло. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг получится повернуть

угрызения совести вспять, превратить в обыкновенную вину, покаяться и получить прощение? Почему бы не доказать, что ты, вопреки ее мнению, был, в сущности, неплохим малым, и почему бы ей не принять твои доказательства?

Возможно также, что мой побудительный мотив пришел совершенно с другой стороны — со стороны не прошлого, а будущего. Как и у большинства людей, у меня есть свои приметы, связанные с путешествиями. Все мы знаем, что по статистике летать самолетом безопаснее, чем ходить в ближайший магазин. Но я все равно перед каждой поездкой оплачиваю счета, разбираю почту, звоню кому-нибудь из близких.

— Сьюзи, я завтра уезжаю.

— Знаю, папа. Ты говорил.

— Разве?

— Да, конечно.

— Ну, я так, попрощаться.

— Извини, папа, тут дети шумят. Что ты сказал?

— Ничего особенного, передавай им привет.

Разумеется, это делается ради себя. Чтобы оставить по себе приятное впечатление. Чтобы тебя лишний раз помянули добрым словом — на тот случай, если твой самолет окажется менее без-

опасным, чем угловой магазин.

Если уж мы соблюдаем эти ритуалы перед недельной зимней поездкой на Майорку, то что же говорить о более масштабном событии, которое приближается с каждым днем: о заключительной поездке в крематорий на дребезжащем катафалке? Не поминайте лихом, теперь обо мне — или хорошо, или ничего. Рассказывайте другим, как вы мною дорожили, как меня любили, каким я был приличным человеком. Если даже это полная туфта.

Достав старый фотоальбом, я рассмотрел снимок, который сделал на Трафальгарской площади, когда Вероника попросила щелкнуть ее с моими друзьями. Алекс и Колин пыжатся: как-никак их запечатлевают для истории; у Адриана вид привычно серьезный, а Вероника — как я раньше не замечал? — слегка повернулась в его сторону. Нет, она не подняла к нему голову, но и в объектив тоже не смотрит. Другими словами — она не смотрит на меня. В тот день я изводился от ревности. Я-то хотел показать ее друзьям, хотел, чтобы она их одобрила, чтобы они ее приняли — ну, естественно, не более горячо, чем меня. Мои ожидания были мальчишескими и нереальными. Когда она засыпала Адриана вопросами, я

на стенку лез, но потом успокоился — уже в баре отеля, стоило только Адриану проехаться насчет Братца Джека и его компании.

Тут мне пришло в голову разыскать Алекса и Колина. Я представил, как попрошу их поделиться воспоминаниями и доказательствами. Но эти двое оставались второстепенными персонажами; вряд ли они запомнили больше, чем я. А вдруг их доказательства мне не помогут, а совсем наоборот? На самом деле, Тони, когда уже столько воды утекло, можно и правду сказать: Адриан всегда отпускал колкости у тебя за спиной. Хм, занятно. Да, мы оба это замечали. Он говорил, что ты не так хорош и не так умен, как тебе кажется. Понятно; а еще что? Ну, еще говорил, что ты набиваешься к нему в закадычные друзья — стараешься оттеснить нас обоих, что нелепо и необъяснимо. Ладно, я понял; это все? Еще он говорил, что, мол, эта, как ее там, просто тебя динамит, а сама только и ждет, когда подвернется более стоящий вариант. Ты сам-то разве не замечал, как она весь день заигрывала с Адрианом? Нам обоим смотреть было тошно. Чуть ли не язык ему в ухо засовывала.

Нет, от них помощи не дождешься. Миссис Форд уже на том свете. А Братец Джек сошел со сцены. Единственной свидетельницей, единственной

надеждой оставалась Вероника.

Как я сказал, мне хотелось влезть ей под кожу, помните? Это странное выражение; оно всегда напоминает мне рецепт, по которому Маргарет готовит жареную курицу: с осторожностью приподнимает кожу на грудке и бедрышках, а потом запихивает туда кусочки сливочного масла и зелень. Эстрагон, что ли. Возможно, еще дольки чеснока, но тут могу ошибаться. Сам я никогда так не готовил, ни до, ни после; у меня пальцы неловкие, того и гляди проткнут кожу.

А Маргарет еще рассказала, что у французов существует и более причудливый вариант. Они засовывают под куриную кожу черные трюфели; угадайте, как у них называется такое блюдо? «Цыпленок в полутрауре». Наверное, этот рецепт дошел до нас из тех времен, когда люди в первые месяцы скорби носили только черное, затем еще несколько месяцев — серое и только после этого мало-помалу *возвращались* к многоцветью жизни. Траур, полутраур, четвертьтраур. Не знаю, так ли это называлось, но градации цвета были жестко регламентированы. А в наши дни долго ли носят траур? В большинстве случаев — полдня: чтобы съездить на похороны или кремацию и выпить по рюмке.

Прошу прощения, куда-то меня повело. Мне хотелось влезть ей под кожу — об этом ведь шла речь, да? А что было у меня на уме — ровно то, что я сказал, или нечто другое? «Ты у меня под кожей»[29] — это же любовная песня, да?

К Маргарет у меня нет никаких претензий. Абсолютно никаких. Но, попросту говоря, если я теперь отвечаю сам за себя, то кто у меня остался? Промаявшись сомнениями пару дней, я опять послал сообщение Веронике. Расспросил ее о родителях. Жив ли отец? Не мучилась ли перед смертью мама? А в конце добавил: хотя я видел их всего один раз, у меня остались теплые воспоминания. Во всяком случае, на пятьдесят процентов это была чистая правда. Сам не знаю, зачем я полез с этими расспросами. Наверное, захотелось совершить какой-нибудь нормальный поступок или, на худой конец, изобразить хоть что-нибудь нормальное — неизвестно что. Когда мы молоды — когда я был молод, — хочется испытать такие эмоции, как описаны в романах. Чтобы они перевернули все наше бытие, чтобы сотворили и очертили новую реальность. Со временем, как

[29] Примечания: 29

«Ты у меня под кожей» («I've Got You under My Skin») — песня Кола Портера, написанная в 1936 г. и ставшая хитом в исполнении Фрэнка Синатры в 1946 г.

я понимаю, мы начинаем ждать от них другого — чего-то более мягкого, более житейского: чтобы они поддерживали равновесие, которого достигла наша жизнь. Мы хотим сказать им: дела не так уж плохи. Разве это предосудительно?

Ответ Вероники вызвал у меня и удивление, и облегчение. Она не сочла мои вопросы назойливыми. Можно было подумать, она даже рада, что ее спросили. Ее отец умер более тридцати пяти лет назад. С годами он стал спиваться и заработал рак пищевода. Тут меня ужалило чувство вины: тогда, на Шатком мосту, я бездумно наговорил всяких глупостей про лысых алкоголиков.

Мать Вероники, овдовев, продала дом в Чизлхерсте и переехала в Лондон. Посещала курсы изобразительного искусства, начала курить, стала сдавать комнаты, хотя и не нуждалась в деньгах. Она долго пребывала в добром здравии, но около года назад ее стала подводить память. Врачи подозревали микроинсульт.

Вскоре она стала убирать чай в холодильник, яйца в хлебницу и все такое. Чуть не устроила пожар, забыв непотушенную сигарету. Настроение у нее было бодрое, но потом наступило резкое ухудшение. Последние месяцы вылились в борьбу за жизнь; нет, смерть ее не была легкой,

но стала избавлением.

Я несколько раз перечитал это сообщение. Искал какие-нибудь ловушки, двусмысленности, скрытые оскорбления. И не находил — если не считать, что откровенность тоже может быть ловушкой. Это была обычная печальная история, слишком хорошо знакомая и рассказанная без затей.

Когда у тебя начинает хромать память (я имею в виду не Альцгеймера, а вполне предсказуемые возрастные изменения), реагировать можно по-разному. Можно сидеть и напрягать мозги, чтобы вспомнить знакомое имя, название цветка, станцию метро, фамилию космонавта… Можно признать свое поражение и воспользоваться справочником или интернетом. А можно просто махнуть рукой — забыть про забывчивость, и тогда утраченный факт через пару дней всплывет сам и, скорее всего, во время бессонницы, которая тоже приходит с возрастом. Все мы, рассеянные, с этим сталкиваемся.

Но мы открываем для себя и кое-что еще: мозг не любит, когда его подгоняют под общие мерки. Как раз на том этапе, когда мы думаем, что все катится под откос, что нам осталось только вычитание и деление, наш мозг, наша память

может нас удивить. Как будто говоря: «Не рассчитывай на спокойное, постепенное угасание — в жизни все *гораздо* сложнее». И мозг начинает время от времени подбрасывать тебе какие-то обрывки, даже высвобождать знакомые петли памяти. Именно на этом, к моему ужасу, я себя и поймал. Я начал вспоминать, в произвольной последовательности, давно похороненные детали той поездки в гости к семейству Форд. Моя комната в мансарде выходила окнами на крыши домов и лес; внизу били часы, отставшие точно на пять минут. Миссис Форд смахнула растекшийся желток в мусорное ведро с выражением сожаления — к яйцу, а не ко мне. После ужина ее муж стал накачивать меня бренди, а когда я пытался отказываться, он вопрошал, кто я такой — мужчина или мышонок. Братец Джек называл миссис Форд «Мать», например: «Как считает Мать: когда оголодавшая армия сможет подкрепиться?» На второй день, ближе к ночи, Вероника не просто поднялась со мной наверх. Она объявила: «Пойду провожу Тони в его комнату» — и у всех на глазах взяла меня за руку. Братец Джек спросил: «А что об этом думает Мать?» Но Мать только улыбнулась. Я свернул пожелания доброй ночи, адресованные присутствующим,

поскольку чувствовал приближение эрекции. Мы неторопливо поднялись в мансарду, где Вероника прижала меня к двери, поцеловала в губы и прошептала мне на ухо: «Греховных снов». И как сейчас помню, секунд через сорок я уже дрочил над маленькой раковиной, направляя сперму в сточное отверстие.

Для чего-то я стал гуглить Чизлхерст. И обнаружил, что в этом городке отродясь не было церкви Святого Михаила. Значит, мистер Форд, сидевший за рулем, вел свою экскурсию просто от балды — либо в угоду какой-то семейной шутке, либо с элементарной издевкой. Сильно сомневаюсь, что мы проезжали «Кафе Ройяль». Потом я зашел на *Google Earth* и стал пикировать на разные районы, максимально увеличивая изображение. Но дом, который я искал, как сквозь землю провалился.

Пару дней назад, перед отходом ко сну, я плеснул себе еще спиртного, включил компьютер и вывел адрес единственной Вероники, которая значилась в моем списке адресов. Предложил ей встретиться снова. Извинился за все возможные оплошности, совершенные в прошлый раз. Заверил, что не собираюсь говорить о завещании ее матери. Это, между прочим, была чистая правда; но, только напечатав это предложение, я сообра-

зил, что уже давно не обращался мыслями ни к Адриану, ни к его дневнику.

«Хочешь замкнуть круг?» — спрашивалось в ответном письме.

«Не знаю, — написал я. — Но вреда от этого не будет, правда?»

Мой вопрос остался без ответа, но тогда я ничего не заметил и не заподозрил.

Почему-то в глубине души я ожидал, что она предложит опять встретиться на мосту. А если не там, то в каком-нибудь обнадеживающе укромном месте: в забытом пабе, в тихом кафе, а то и в баре отеля «Черинг-Кросс». Но она выбрала ресторан-гриль на четвертом этаже торгового дома «Джон Льюис» на Оксфорд-стрит.

На самом деле в этом был для меня некий плюс: мне требовалось купить моток лески для карниза, средство для удаления накипи из чайника и еще набор таких специальных заплаток, которые достаточно приложить к прорехе с изнаночной стороны и прогладить горячим утюгом. В моем районе их днем с огнем не сыщешь: мелкие магазинчики, предлагавшие такой товар, давным-давно переоборудованы под кафе или агентства по недвижимости.

В поезде напротив меня сидела, закрыв глаза,

девушка с наушниками, безразличная ко всему миру, дергающая головой в такт беззвучной музыке. И вдруг на меня нахлынуло одно воспоминание: танец Вероники. Как я уже говорил, она вообще никогда не танцевала, но как-то вечером у меня в комнате на нее нашло игривое настроение, и она принялась рыться в моих поп-дисках.

— Поставь-ка что-нибудь — покажи, как ты танцуешь, — потребовала она.

Я замотал головой:

— Без пары не могу.

— Ты, главное, покажи, а я присоединюсь.

И вот я укомплектовал механизм автозамены стопкой «сорокапяток», шагнул к Веронике, повел плечами, чтобы расслабить все тело, полуприкрыл веки, как бы не желая ее смущать, и стал наяривать. Хвастливая демонстрация мужского начала, типичная для того времени, — решительно индивидуалистическая и в то же время диктуемая скрупулезной имитацией тогдашних норм: дерганье головой, дрыгоножество, вращение плечами, выпячивание лобка и, в награду публике, исступленное вскидывание рук и отдельные стоны. Вскоре я открыл глаза, ожидая увидеть, что она по-прежнему сидит на полу и смеется надо мной. Но нет: она летала

по комнате, как выпускница балетной школы; волосы закрыли ей лицо, икроножные мышцы вытянулись и напряглись. Я таращился на нее, но так и не понял, хотела ли она меня переплюнуть или действительно заторчала под «Муди Блюз». На самом деле мне было все равно: я балдел и торжествовал хоть маленькую, но победу. Через некоторое время я подобрался к ней поближе — в тот момент, когда Нед Миллер допел «Из валетов в короли»,[30] а на смену пришел «Ускользающий мотылек» Боба Линда.[31] Но она ничего не замечала и, кружась, натолкнулась на меня, да так, что чуть не упала. Я ее подхватил и не спешил отпускать.

— Как видишь, ничего сложного.

— Никто и не говорит, что это сложно, — ответила она. — Ладно. Да. Благодарю, — чопорно добавила она, высвободилась и села. — Ты продолжай, если хочешь. А с меня хватит.

Но ведь она все-таки потанцевала.

Сделав покупки в галантерейном, хозяй-

---

[30] Примечания: 30

Нед Миллер допел «Из валетов в короли»… — «From a Jack to a King» — песня кантри-певца Неда Миллера (р. 1925), хит 1962 г.

[31] Примечания: 31

…«Ускользающий мотылек» Боба Линда. — «Elusive Butterfly» — песня американского автора-исполнителя Боба Линда (р. 1942), хит 1966 г.

ственном и портьерном отделах, я поспешил в условленный гриль-бар. Явился на десять минут раньше, но Вероника, как и следовало ожидать, была уже там: склонив голову, она погрузилась в чтение, не сомневаясь, что я сам ее отыщу. Как только я опустил пакеты на пол, она с полуулыбкой подняла на меня глаза. Я подумал: куда же подевалось твое колючее сумасбродство?

— Все так же лыс, — объявил я.

Ее полуулыбка сменилась четверть-улыбкой и на том застыла.

— Что читаем?

Она повернула ко мне бумажную обложку. Стефан Цвейг.

— Ага, наконец-то приближаешься к концу алфавита. Кто там после него остается?

Почему я вдруг задергался? Зачастил, как двадцатилетний юнец. Цвейга, кстати, не читал.

— Я буду пасту, — сказала она.

Что ж, по крайней мере, не стала выкаблучиваться.

Пока я изучал меню, она снова углубилась в книгу. Наш столик находился над перекрестьем эскалаторов. Люди ехали вверх, люди ехали вниз; все что-то покупали.

— В метро мне вспомнился твой танец. У меня

в комнате. В Бристоле.

Я думал, Вероника начнет меня поправлять или на что-нибудь да рассердится. Но она только сказала:

— Непонятно, с какой стати ты это вспомнил.

И с ее подтверждением ко мне начала возвращаться уверенность. На этот раз Вероника была одета более продуманно, а укладка в значительной мере скрывала седину. Непостижимым образом ей удавалось выглядеть, с моей точки зрения, лет на двадцать и на шестьдесят одновременно.

— Итак, — продолжил я, — расскажи, как тебе жилось в последние сорок лет?

Она покосилась на меня.

— Сначала ты.

Я изложил ей историю своей жизни. Точь-в-точь как рассказываю себе — эта версия выдержала проверку на прочность. Она спросила «про двух приятелей, с которыми мы однажды провели день» — как будто имена вылетели у нее из головы. Я признался, что потерял связь с Колином и Алексом. Потом взялся описывать Маргарет, Сьюзи, себя в роли деда, а сам все пытался прогнать голос Маргарет, который нашептывал мне в ухо: «Как там Психичка?» Рассказал о своей

карьере, о выходе на пенсию, о нынешних занятиях и о зимних поездках: в этом году, например, планировал для разнообразия посетить заснеженный Санкт-Петербург… Я старался показать, что вполне удовлетворен, но не самодоволен. В середине моего рассказа о внуках она вдруг подняла взгляд, одним глотком допила кофе, положила на столик деньги и встала. Я тоже засобирался, но она сказала:

— Не торопись, допивай.

Твердо решив ничем ей не досаждать, я снова опустился на стул.

— Что ж, теперь твоя очередь, — сказал я. Имея в виду ее рассказ.

— Очередь куда? — спросила Вероника, но не успел я ответить, как ее и след простыл.

Да, я понял ее маневр. Она провела со мной битый час, не раскрыв ни единой подробности — а тем более тайны — о себе. На указательном пальце у нее было красное стеклянное кольцо, столь же загадочное, как и все остальное. Но я не возражал; меня даже грело такое чувство, как будто я пришел на первое свидание и не опозорился. Хотя на самом деле — ничего похожего. Когда после первого свидания с девушкой уезжаешь к себе домой на метро, тебя в дороге

не преследуют забытые интимные подробности сорокалетней давности. Как нас тянуло друг к другу, какой невесомой пушинкой лежала она у меня на коленях, какое волнение охватывало нас при каждой встрече, как, несмотря на отсутствие «полной близости», мы познали все ее составляющие: страсть, нежность, откровенность, доверие. И как я отчасти смирялся с тем, что у нас это было «не до конца»; проводив ее домой, неистово мастурбировал и безропотно делил узкую холостяцкую кровать только со своими фантазиями и быстро возвращавшейся эрекцией. Если я довольствовался меньшим, чем получали другие, то причиной тому, конечно, был страх: страх ее беременности, страх сказать или сделать что-нибудь не то, страх ошеломляющего единения, которое оказалось сильнее меня.

Следующая неделя прошла без потрясений. Я заменил леску в карнизе, отчистил от накипи чайник, залатал старые джинсы. Сьюзи не звонила. Маргарет, судя по всему, решила не объявляться, пока я не сделаю первый шаг. А чего она ожидала? Извинений, заискивания? Нет, мстительностью она не страдала; ей всегда было достаточно моей скорбной улыбки в знак преклонения перед ее несравненной мудростью.

Но в этот раз дело могло обернуться иначе. Более того, оставалась вероятность, что Маргарет я не увижу довольно долго.

Отчасти меня тревожило смутное чувство неловкости. Вначале я не мог понять, откуда оно берется: ведь именно Маргарет сказала, что я теперь сам себе голова. Но потом у меня возникло одно старое воспоминание — еще из тех времен, когда мы только-только поженились. Кто-то из моих приятелей по работе устраивал вечеринку и пригласил меня; Маргарет идти отказалась. Я приударил за одной девушкой, и та не возражала. Ну, приударил — это не то слово, хотя до секса даже отдаленно не дошло; а протрезвев, я тут же отыграл назад. После того случая у меня осталось ощущение азарта, наполовину разбавленное ощущением вины. И сейчас, как я понял, со мной произошло то же самое. Не сразу удалось разложить это по полочкам. Наконец я себе заметил: все верно, ты чувствуешь вину перед своей бывшей, с которой развелся двадцать лет назад, и азарт по отношению к старой подруге, с которой не виделся сорок лет. Кто сказал, что в жизни не осталось сюрпризов?

Дергать Веронику я не собирался. Хотел, чтобы теперь она сама вышла на связь. Без устали прове-

рял почту. Конечно, я не ждал особых излияний, но надеялся хотя бы на вежливые фразы о том, как приятно было встретиться по прошествии такого долгого срока.

Но видимо, ей было не особенно приятно. Или она куда-нибудь уехала. Или сервер у нее барахлил. Чей это был афоризм про неизбывную надежду человеческого сердца? Вам, наверное, доводилось читать, что пишут в газетах про так называемую позднюю любовь? Особенно если это старый хрен и старая вешалка из дома престарелых? Оба вдовые, улыбаются, сверкая вставными зубами, держатся за скрюченные ручки. А некоторые, как ни удивительно, при этом изъясняются на языке молодой любви. «Увидев ее (его), я сразу понял(-а), что мы созданы друг для друга» — как-то так. Одна часть моего сознания всегда умилялась и готовилась аплодировать, а другая взирала на них с настороженностью и недоумением. Кому нужно это повторение пройденного? Не зря ведь говорят: обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но теперь все во мне восставало против моего собственного… чего? Мещанства, скудоумия, страха перед разочарованием? К тому же — внушал я себе — у меня пока еще все зубы целы.

В ту ночь мы целой компанией отправились

в Минстеруорт смотреть севернскую волну. Вероника была рядом. По всей вероятности, мой разум впоследствии стер этот факт, но теперь у меня не оставалось никаких сомнений. Она ездила туда со мной. Мы сидели на мокром одеяле, расстеленном на мокрой земле, и держались за руки; у нее было с собой горячее какао в термосе. Пора невинности. Лунный свет выхватил подступающую волну. Ребята с воплями наблюдали за ее приближением и с воплями кинулись за ней вдогонку, рассекая ночь лучами фонариков. А мы, оставшись вдвоем, стали говорить, что невозможное подчас становится возможным, но это надо видеть своими глазами, а иначе не поверишь. Настроение у нас было задумчивое, даже мрачное, но никак не восторженное.

По крайней мере, сейчас мне вспоминается именно так. Хотя не поручусь, что взялся бы повторить то же самое под присягой. «И вы утверждаете, что на сорок лет забыли об этом случае?» — «Да». — «И что он совсем недавно всплыл у вас в памяти?» — «Да». — «Можете ли вы объяснить, почему он всплыл у вас в памяти?» — «Не уверен». — «Тогда позвольте указать вам, мистер Уэбстер, что этот предполагаемый эпизод целиком и полностью — плод вашего воображения,

призванный оправдать некие романтические отношения с моей подзащитной, которые вы сейчас пытаетесь представить как имевшие место в действительности; у моей подзащитной — прошу занести это в протокол — такие измышления вызывают антипатию». — «Но…» — «Что значит „но“, мистер Уэбстер?» — «Но у нас в жизни не так уж много людей, которых мы любим. Один, двое, трое? И порой мы осознаем свои чувства, когда уже слишком поздно. Впрочем, почему „слишком“? Вы читали статью о том, как в Барнстепле, в доме престарелых, вспыхнула поздняя любовь?» — «Умоляю, мистер Уэбстер, избавьте нас от этой сентиментальщины. Суд рассматривает только факты. Какие именно факты вы можете сообщить по данному делу?»

Я бы на это ответил: нужно допускать, хотя бы в теории, что наша память существует не просто так, а во времени. Мы движемся сквозь годы, описывая те же самые петли, возвращаясь к одним и тем же событиям и чувствам. Нажимаешь кнопку с надписью «Адриан» или «Вероника», отматываешь пленку назад и смотришь знакомые кадры. События служат подтверждением чувств: возмущения, уязвленного самолюбия, облегчения, а чувства — подтверждением событий. Доступа к

чему-либо иному, видимо, не существует; дело закрыто. Вот потому-то мы ищем подтверждения, хотя оно подчас оборачивается опровержением. А что, если наши эмоции, связанные с давними событиями и знакомствами, тоже меняются, пусть даже где-то на поздней стадии? То гнусное письмо, которое я написал своей рукой, вызвало у меня раскаяние. Рассказ Вероники о смерти ее родителей — да-да, и отца тоже — взволновал меня сильнее, чем можно было предполагать. У меня к ним возникло сочувствие — и к ней тоже. Вскоре после этого я начал припоминать забытое. Не знаю, есть ли тому научное объяснение — что-нибудь связанное с новыми аффективными состояниями, способными разблокировать нейронные проводящие пути. Могу сказать одно: такое произошло, и я сам этому поразился.

В общем, заглушив назойливый голос адвоката противной стороны, я написал Веронике и предложил встретиться еще раз. Извинился, что совсем ее заговорил. Выразил желание узнать побольше о ее жизни, о семье. Якобы у меня в скором времени планировалась очередная поездка в Лондон. Удобно ли ей будет на том же месте, в тот же час?

Как люди обходились в прежние времена, ко-

гда письма шли обычной почтой? Наверное, три недели ожидания почтальона равнялись сегодняшним трем дням ожидания мейла. Разве три дня — это большой срок? Достаточно большой, чтобы воспарить от радости. Вероника даже не стерла мою тему («Снова привет?»), но теперь мне виделась в этом особая прелесть. Определенно, у нее не осталось обиды, потому что она назначила свидание через неделю, в пять часов дня, на какой-то незнакомой мне станции метро в северной части Лондона.

Я разволновался. Оно и неудивительно. Правда, мне не сказали: «Захвати пижаму и паспорт», но, к сожалению, на каком-то этапе жизнь оставляет нам совсем мало вариантов. Опять же, моим первым порывом было позвонить Маргарет, но потом я передумал. Ко всему прочему, Маргарет сюрпризов не жаждет. Она всегда любила — и сейчас любит — все планировать заранее. Пока мы еще были бездетными, она тщательно следила за своим циклом и выбирала самые безопасные дни для занятий любовью. У меня от этого либо возникало неудержимое желание, либо — чаще всего — желание пропадало напрочь. Маргарет никогда в жизни не стала бы назначать загадочное свидание на отдаленной станции метро. Она

могла бы назначить деловую встречу под часами на вокзале Паддингтон. Ну, в свое время, как вы понимаете, я не возражал.

Всю неделю я пытался высвободить какие-нибудь новые воспоминания о Веронике, но безуспешно. Не иначе как перестарался, перенапряг мозги. Пришлось раз за разом прокручивать то, что имелось: давно знакомые образы и недавние поступления. Поднося их к свету, поворачивая так и этак, я хотел узнать, не наполнились ли они другим смыслом. Я взялся за переоценку самого себя в молодости, насколько это возможно. Спору нет, я был глуп и наивен — как все; но у меня сейчас хватило здравого смысла не педалировать эти качества, потому что такая критика неизбежно перерастает в бахвальство: вот, мол, каким я был — и каким стал. Я старался соблюдать объективность. Та версия наших с ней отношений, которую я пронес сквозь годы, в свое время была для меня единственно подходящей. Раненное изменой молодое сердце, исстрадавшееся молодое тело, униженный молодой индивидуум. Как там ответил старина Джо Хант, когда я с видом знатока объявил, что история — это ложь победителей? «Не будем забывать, что история — это также самообман побежденных». Вспоминаем ли мы

этот тезис, когда речь заходит о частной жизни?

Ниспровергатели времени говорят: сорок — это не возраст, пятьдесят — самый расцвет, шестьдесят — это новые сорок, и так далее. Я твердо знаю одно: есть время объективное, а есть субъективное, которое ты носишь на внутренней стороне запястья — там, где пульс. И твое собственное, то есть истинное время, измеряется твоими отношениями с памятью. Потому-то и приключилась та странность: когда на меня вдруг нахлынули эти новые воспоминания, ощущение было такое, будто время ненадолго повернуло вспять. Как река, ненадолго устремившаяся вверх по течению.

Конечно, приехал я слишком рано; пришлось выйти на предыдущей станции, чтобы убить время за чтением бесплатной газеты. Вернее, за тупым перелистыванием. Потом я доехал до пункта назначения и поднялся на эскалаторе в наземный вестибюль, расположенный в совершенно незнакомом районе Лондона. Пройдя через турникет, я увидел характерную фигуру и позу. Вероника мгновенно развернулась и пошла к выходу. Я поспешил следом, мимо автобусной остановки, в какой-то переулок, где она отперла машину. Сев на пассажирское место, я огляделся.

Она уже включала зажигание.

— Надо же. У меня тоже «фольксваген-поло».

Она не ответила. В этом не было ничего удивительного. Насколько я знал и помнил, пусть даже мои сведения устарели, Веронику никогда не интересовали машины. И меня, кстати, тоже; хорошо еще, что я воздержался от комментариев.

Хотя день близился к вечеру, стояла жара. Я открыл свое окно. Стрельнув глазами сквозь меня, Вероника нахмурилась. Окно пришлось закрыть. Что ж, ладно, сказал я про себя.

— Мне тут вспомнилось, как мы ездили смотреть севернскую волну.

Ответа не было.

— Помнишь? — (Она помотала головой.) — Действительно не помнишь? Мы всей бандой ездили аж в Минстеруорт. Светила луна…

— Рулю, — бросила она.

— Конечно, конечно.

Если ей так угодно. В конце-то концов, она меня везла. Я стал смотреть в окно. Лавчонки, торгующие всяким барахлом, дешевые забегаловки, букмекерская контора, очередь к банкомату, женщины с выпирающими жировыми складками, шлейфы мусора, горланящий безумец, тучная мамаша с тремя раскормленными детишками,

рожи всех цветов кожи, все нормально, оживленная лондонская улица.

Через несколько минут мы оказались в более приличном районе: частные дома, палисадники, небольшая возвышенность. Вероника свернула в боковой проезд и остановилась. Я про себя сказал: ладно, это твоя игра, устанавливай правила, я подожду. И еще подумал: черт побери, вот ни за что не сорвусь, будь ты хоть трижды зла, как тогда на Шатком мосту.

— Что там Братец Джек? — весело спросил я. На этот вопрос едва ли можно было ответить «рулит».

— Джек и есть Джек, — ответила она, не глядя в мою сторону.

Что ж, с философской точки зрения это самоочевидно, как мы говорили в школьные годы с подачи Адриана.

— А ты помнишь…

— Ждем, — перебила она.

Очень хорошо, подумал я. Встреча, потом «рулю», потом «ждем». Что дальше? Купить продуктов, приготовить обед, поесть-попить, пообжиматься, подрочить, потрахаться? Это вряд ли. Но пока мы сидели бок о бок, облысевший мужчина и неухоженная женщина, я понял, на

что следовало обратить внимание с самого начала. Из нас двоих Вероника нервничала больше. И при том, что я нервничал из-за нее, она-то явно переживала не из-за меня. Я был каким-то мелким внешним раздражителем. Зачем я вообще понадобился?

Я стал ждать. Пожалел, что оставил бесплатную газету в метро. Спрашивал себя, почему не приехал сюда на своей машине. Наверное, потому, что не знал, как тут обстоят дела с парковкой. Мне хотелось пить. Хотелось в уборную. Я снова опустил стекло. На этот раз Вероника не возражала.

— Смотри.

Я посмотрел. По тротуару с моей стороны к автомобилю приближалась небольшая процессия. Я насчитал пять человек. Впереди шел субъект, одетый, несмотря на жару, в несколько слоев толстого твида, включая жилет и шапку, какую носят охотники на оленей. Пиджак и шапка поблескивали на солнце металлическими значками, которых, на глаз, было не менее трех-четырех десятков; из верхнего кармана жилета в нижний уходила металлическая цепочка. Физиономия у него была вполне жизнерадостная, будто он подвизался при цирке или на ярмарке в какой-то неопределенной должности. За ним следовали

двое других: один, с черными усами, при ходьбе как-то переваливался с боку на бок; другой, низкорослый уродец, одно плечо выше другого, немного отстал, чтобы плюнуть в чей-то палисадник. Замыкал шествие голенастый дурковатый очкарик, державший за руку толстуху, похожую на индианку.

— В паб, — сказал усатый, когда они поравнялись с нами.

— Нет, не в паб, — возразил увешанный значками субъект.

— В паб, — не уступал первый.

— В магазин, — потребовала женщина.

Они галдели, как школяры после уроков.

— В магазин, — поддакнул кособокий, аккуратно харкнув на живую изгородь.

Повинуясь приказу, я смотрел. С виду им можно было дать от тридцати до пятидесяти, но в то же время сквозило в них что-то застывшее, неподвластное возрасту. И еще какая-то робость, усугублявшаяся тем, как последняя парочка держалась за руки. Без нежности, но как бы защищаясь от мира. Они прошли буквально в метре от нас, даже не покосившись на машину. За ними, чуть поодаль, держался молодой человек в шортах и рубашке с распахнутым воротом; я так

и не понял, это сопровождающий или обычный прохожий.

Молчание длилось долго. Видимо, инициатива должна была исходить от меня.

— Ну?

Она не ответила. Наверное, вопрос оказался слишком общим.

— Что с ними такое?

— Что *с тобой* такое?

Такой ответ, при всей желчности, был ни к селу ни к городу. Пришлось нажать.

— А этот молодой парень — с ними?

Молчание.

— Городские сумасшедшие, что ли?

Я ударился затылком о подголовник — это Вероника внезапно отпустила сцепление. На бешеной скорости мы промчались вокруг пары кварталов, подпрыгивая не хуже каскадеров на многочисленных «лежачих полицейских». Переключение скоростей, или отсутствие оного, повергало меня в ужас. Так продолжалось минут десять, потом автомобиль резко свернул на стоянку, заехал одним передним колесом на бордюр и тут же скатился вниз.

У меня возникла невольная мысль: вот Маргарет всегда бережно управляет автомобилем. И

опасностей не создает, и машину щадит. Когда я ходил на курсы вождения, инструктор мне внушал, что с педалью газа и ручкой переключения передач нужно обращаться так нежно, чтобы у пассажира даже не шелохнулась голова. Я тогда изумился и впоследствии, сидя на пассажирском месте, всегда обращал на это внимание. Живи я с Вероникой, давно заработал бы остеохондроз.

— Ничего до тебя не доходит… И раньше не доходило, и никогда не дойдет.

— Мне бы хоть какую-нибудь подсказку.

И вдруг я снова увидел все ту же немыслимую компанию, бредущую прямо на меня. Вот, значит, для чего понадобилась такая гонка — для того, чтобы настичь этих блаженных. Наша машина стояла между каким-то магазинчиком и прачечной, напротив паба. Субъект, увешанный значками («зазывала» — вот то слово, которое я тогда не вспомнил: балагур, пританцовывающий у входа в шатер и зазывающий публику подивиться на бородатую женщину или двуглавую панду), по-прежнему держался впереди. Четверо других обступили молодого человека в шортах — по всей видимости, он все-таки был с ними. Социальный работник, не иначе. Я услышал, как он говорит:

— Нет, Кен, в паб не сегодня. Паб у нас в пятницу вечером.

— В пятницу, — повторил усатый.

От меня не укрылось, что Вероника, отстегнув ремень безопасности, взялась за ручку дверцы. Как только я последовал ее примеру, она бросила:

— Сиди.

Как собаке.

В разгар дебатов о выборе между пабом и магазином кто-то из этих странных персонажей заметил Веронику. Твидовый субъект сдернул с головы шапку и прижал к сердцу, а затем раскланялся. Кособокий запрыгал на месте. Дурковатый тип отпустил руку индианки. Социальный работник, улыбаясь, обменялся рукопожатием с Вероникой. В мгновенье ока вся компания окружила ее радостным кольцом. Индианка схватила Веронику за руку, а сторонник паба опустил голову ей на плечо. Казалось, она ничуть не возражает против таких знаков внимания. Я прислушался, но все тараторили наперебой. Потом Вероника повернулась в мою сторону, и я услышал:

— Скоро.

— Скоро, — повторили двое-трое.

Кособокий опять запрыгал, дурковатый рас-

плылся в широкой улыбке и прокричал:

— Пока, Мэри!

Они пошли провожать ее до машины, но при виде меня остановились как вкопанные. Четверо стали энергично махать на прощание, а твидовый субъект решился подойти к автомобилю с моей стороны. Его шапка до сих пор была прижата к сердцу. Он просунул свободную руку в окно; я ее пожал.

— Мы идем в магазин, — официально доложил он.

— Что будете покупать? — осведомился я с такой же серьезностью.

Оказалось, это вопрос на засыпку; субъект погрузился в раздумье.

— Нужные вещи, — ответил он наконец. — Принадлежности.

Вслед за тем он светски откланялся, развернулся и водрузил на голову сплошь утыканную значками шапку.

— Похоже, безобидный, — заметил я.

Но Вероника одной рукой уже включала зажигание, а другой махала своим знакомцам. Мне бросилось в глаза, что она вся в испарине. Нет, понятно, день был жаркий, но все же.

— Они тебя встретили как родную.

Я понял, что отвечать на мои реплики она не собирается. И еще — что она страшно зла: в основном на меня, но и на себя тоже. Никакой особой вины я за собой не чувствовал. Только я раскрыл рот, как заметил, что она, не снижая скорости, несется прямиком на «лежачего полицейского», и побоялся от толчка прикусить язык. После того как мы взяли это препятствие, я спросил:

— Интересно, сколько у него значков?

Молчание. Подскок.

— Они все живут под одной крышей?

Молчание. Подскок.

— Значит, паб — в пятницу вечером.

Молчание. Подскок.

— Да, мы действительно ездили в Минстеруорт вместе. Тогда светила луна.

Молчание. Подскок. Мы свернули на знакомую оживленную улицу; к вокзалу, насколько я помню, уже вела ровная полоса асфальта.

— Шикарный район.

Для достижения цели я решил поддерживать беседу; знать бы еще, какова была моя цель. Не мог же я доставать Веронику, как доставал страховую компанию, — это кануло в прошлое.

— Да, ты права: я уеду совсем скоро.

— …

— И все же приятно было в прошлый раз вместе пообедать.

— …

— Не посоветуешь, что бы такого почитать из Стефана Цвейга?

— …

— Я смотрю, много стало полных людей. Тучных. В наше время такого не наблюдалось, ты согласна? Не припомню в Бристоле ни одного толстяка.

— …

— Почему этот дебил зовет тебя «Мэри»?

Счастье, что я пристегнулся. В этот раз Вероника на скорости около двадцати миль в час въехала двумя колесами на бордюр и ударила по тормозам.

— Вон, — бросила она, глядя перед собой.

Кивнув, я отстегнул ремень и медленно выбрался из машины. Придержал дверцу дольше, чем требовалось, просто чтобы напоследок досадить Веронике, и сказал:

— Резину загубишь такой ездой.

Она рванула на себя дверцу и умчалась прочь.

На обратном пути, сидя в поезде метро, я ни о чем не думал и только прислушивался к своим ощущениям. Но даже их не мог осмыслить. И

только ближе к ночи попытался разобраться в событиях минувшего дня.

Причиной моего глупого, унизительного положения стала — как я там назвал ее для себя несколькими днями ранее? — «неизбывная надежда человеческого сердца». А еще до этого — «заманчивая перспектива преодолеть чужое презрение». Обычно я не страдаю избыточным самомнением, но меня явно опустили ниже плинтуса. Простое намерение получить то, что мне положено по завещанию, выросло в нечто большее, затронувшее жизнь, время и память, которыми я живу. А вдобавок еще и разбередило желание. Я думал — каким-то уголком разума я действительно так думал, — что сумею начать сначала и многое изменить. Что поверну время вспять. У меня достало тщеславия — если не сказать хуже — вообразить, будто я способен и даже обязан снова влюбить в себя Веронику. Когда она спрашивала по электронной почте, не хочу ли я замкнуть круг, мне и в голову не пришло искать в этих словах язвительную насмешку — я воспринял это как откровенность, а то и флирт.

В своем отношении ко мне она, если вдуматься, была последовательна — не только в эти месяцы, но и во все истекшие годы. Я не отвечал ее

требованиям, она выбрала Адриана и сочла, что не промахнулась. Это, как я сейчас понял, было самоочевидно — и с философской, и с какой угодно точки зрения. Однако я, не разобравшись в собственных мотивах, вознамерился ей доказать, пусть и с большим запозданием, насколько она была не права. Точнее, насколько она была права в своих первых ощущениях, когда мы с ней только-только потянулись друг к другу душой и телом, когда она оценила мои пластинки и книги, когда сочла возможным представить меня своим родным. Я рассчитывал побороть ее презрение, переплавить свои угрызения совести в чувство вины и заслужить прощение. Почему-то я себе внушил, что мы сумеем стереть наше раздельное существование, вырезать кусок магнитной пленки, на которой записаны наши судьбы, и склеить края, вернуться к развилке и пойти той дорогой, что меньше хожена, а то и вовсе не проторена. Но у меня снесло крышу. Вот старый дурак, обругал я себя. Седина в голову — бес в ребро, как говаривала моя покойная матушка, читая в газетах истории о стариках, которые влюблялись в молоденьких и разрушали семью ради жеманной улыбки, копны волос и пышного бюста. Конечно, мне бы она сейчас такого не сказала. А я даже

не могу спрятаться за банальной фразой о том, что все мужчины в моем возрасте одинаковы. Нет, такого дурака, как я, еще поискать — чтобы возлагал свои убогие надежды на самый неблагодарный объект желания.

Всю следующую неделю я, как никогда, изводился от тоски. Казалось, надеяться больше не на что. В мозгу отчетливо звучали два голоса — Маргарет повторяла: «Решай сам, Тони», а Вероника твердила: «Ничего до тебя не доходит. И раньше не доходило, и никогда не дойдет». А оттого, что я мог в любой момент позвонить Маргарет, которая не станет злорадствовать и как ни в чем не бывало согласится со мной пообедать, у меня на душе становилось еще муторнее. Чем дольше живешь, тем меньше понимаешь — чьи это слова?

И все же, повторюсь, у меня довольно сильно развит инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. И если даже в этом смысле человек себе льстит — неважно: лишь бы действовал правильно. Через некоторое время я взял себя в руки. Нужно было возвращаться к тому состоянию, которое предшествовало этим бредовым старческим фантазиям. У меня полно разных дел, не считая уборки квартиры и волонтерской службы в больничной библиотеке. Между прочим, не

худо было бы вернуться и к вопросу о получении моей доли наследства.

Дорогой Джек, — написал я. — *У меня еще одна просьба. К сожалению, Вероника водит меня за нос, как и в молодые годы. Неужели жизнь нас ничему не учит? Короче, история с дневником, завещанным мне твоей матушкой, зашла в тупик. Посоветуй, пожалуйста, как быть дальше. К слову — одна маленькая загадка. На прошлой неделе мы с В. очень мило пообедали в городе. Затем она предложила мне приехать для встречи с ней по Северной кольцевой и показала каких-то городских сумасшедших, а потом от этой затеи сама на себя разозлилась. Не мог бы ты пролить свет на эту историю? Надеюсь, у тебя все нормально.*

Всего доброго,

Тони У.

Оставалось только надеяться, что его не резанет фальшь этого послания, как она резанула меня. Вслед за тем я написал мистеру Ганнеллу и попросил его представлять мои интересы в деле о наследстве госпожи Форд. Поведал, строго конфиденциально, что в ходе общения с дочерью покойной заподозрил у нее признаки неуравновешенности, а потому вынужден теперь просить

мистера Ганнелла оказать мне профессиональную услугу: связаться с Элинор Мэрриотт, дабы ускорить решение вопроса.

В конце я позволил себе личные ностальгические слова прощания. А сам мысленно любовался, как танцевала Вероника и волосы спадали ей на лицо. Представил, как она объявила родным: «Пойду провожу Тони в его комнату», как шепотом пожелала мне греховных снов и как я дрочил над маленькой раковиной, пока Вероника спускалась по лестнице. Вспомнил, как блестела внутренняя сторона моего запястья, как сбивался у локтя закатанный рукав.

Мистер Ганнелл ответил согласием. Братец Джек не ответил вовсе.

В тот раз я машинально отметил, что ограничения на парковку действуют только с десяти до двенадцати. Наверное, это правило ввели для того, чтобы пригородным автомобилистам неповадно было забираться в черту города, где можно бросить машину и пересесть на метро. Так что теперь я решил добираться своим ходом: у меня «фольксваген-поло», и его резина прослужит дольше, чем у некоторых. Час с лишним по кольцевой — и я занял место на знакомой стоянке, где окраинная улица шла слегка в гору,

а солнце высвечивало пыль на живой изгороди. Школьники после уроков стайками расходились по домам: мальчики в рубашках навыпуск, девочки в дразняще-коротких юбчонках; многие болтали по мобильному, некоторые на ходу что-то жевали, кое-кто затягивался сигаретой. Когда я был в их возрасте, нам внушали: пока на тебе школьная форма, веди себя так, чтобы не позорить учебное заведение. Никакой еды и питья на улице, за курение — розги. Общение с противоположным полом не поощрялось. Женская школа, входившая в единый комплекс с нашей и расположенная неподалеку, отпускала своих учениц на пятнадцать минут раньше, чтобы те успели скрыться из виду, пока на свободу не вырвутся их сексуально-озабоченные, хищные ровесники. Предаваясь таким воспоминаниям, я фиксировал перемены, но не делал никаких выводов. Не ликовал и не сокрушался. Сохраняя нейтралитет, я оставлял за собой право на суждения и оценки. Но сейчас мои мысли занимал один-единственный вопрос: с какой целью меня пару недель назад привезли на эту самую улицу? Опустив окно, я приготовился ждать.

Часа через два мое терпение лопнуло. На другой день я приехал туда вторично, потом еще

раз, но все безрезультатно. Тогда я переместился на ту улицу, где располагались магазинчик и паб. Немного выждав, я зашел в магазин, купил какую-то ерунду, подождал еще немного и уехал. У меня не было ощущения потерянного времени; наоборот, теперь время приобрело для меня смысл. А магазинчик даже оказался полезным. Там продавалось все подряд — от готовых закусок до скобяных товаров. Для начала я купил немного овощей, потом средство для посудомоечной машины, мясную нарезку, туалетную бумагу; через банкомат снял со счета наличные и пополнил свои запасы спиртного. Через несколько дней ко мне стали обращаться «приятель».

В какой-то момент я решил наведаться в местный отдел социального обеспечения и узнать, есть ли поблизости интернат, где мог проживать субъект, увешанный значками; но это, скорее всего, был дохлый номер. В таких инстанциях первым делом спрашивают: «А вам зачем?» И в самом деле: зачем? Но, как я уже сказал, времени у меня было хоть отбавляй. Когда, к примеру, требуется что-нибудь вспомнить, лучше не понукать свои мозги. Так и здесь: если не понукать… скажем… время, что-нибудь да всплывет; возможно даже, верное решение.

Так и вышло — в памяти всплыла ненароком подслушанная фраза: «Нет, Кен, в паб не сегодня. Паб у нас в пятницу вечером». Дождавшись пятницы, я припарковался где всегда и устроился с газетой в пабе «Вильгельм IV». Заведение было из числа тех, что осовременились под давлением экономических трудностей. Меню предлагало всевозможные блюда, приготовленные на гриле; с телеэкрана потихоньку лились новости Би-би-си; много места занимали меловые доски типа школьных: на одной объявлялась еженедельная викторина, на другой — ежемесячная встреча общества книголюбов, на третьей — программа предстоящих спортивных трансляций, а на четвертой красовалась цитата дня, явно содранная из какого-то корпоративного сборника мудрых мыслей. Не суетясь, я брал себе по полпинты пива и решал кроссворды, но никто так и не появился.

В следующую пятницу я решил заодно и поужинать: заказал филе хека на гриле, картофель фри ручной нарезки и большой бокал чилийского «совиньон-блан». Оказалось недурно. А вечером третьей пятницы, когда я поддевал вилкой пенне с горгонзолой и соусом из грецких орехов, в паб вошли кособокий и усатый. Они привычно уселись за столик; бармен, явно знакомый с их

потребностями, принес им по маленькой кружке светлого, и они с задумчивым видом тут же начали его прихлебывать. По сторонам они не глазели и уж тем более никого не высматривали; на них тоже никто не обращал внимания. Минут через двадцать пришла заботливого вида чернокожая женщина, которая расплатилась у стойки и увела обоих. Я только смотрел и выжидал. «Время на моей стороне, да, это так». Песни иногда не врут.

В пабе, как и магазинчике, меня уже считали своим. Я не вступал в общество книголюбов и не участвовал в викторинах, но регулярно занимал столик у окна и подолгу изучал меню. На что я надеялся? Вероятно, на появление молодого социального работника, который сопровождал тот странный квинтет; а если повезет, то и на встречу с коллекционером значков, который показался мне наиболее дружелюбным и общительным. Я запасся терпением, не приложив к этому ни малейшего усилия; просто перестал считать часы и как-то вечером увидел из окна всех пятерых в сопровождении той же чернокожей опекунши. Двое завсегдатаев вошли в паб; трое других под конвоем отправились в магазин.

Оставив на столе шариковую ручку и газету в знак того, что место занято, я вышел. У входа в

магазин подхватил желтую пластмассовую корзинку и неторопливо двинулся вдоль стеллажей. В конце прохода вся троица топталась у полки с моющими средствами, серьезно обсуждая, какое выбрать. Проход был узкий; поравнявшись с ними, я громко сказал:

— Разрешите.

Все умолкли, а дурковатый очкарик сразу вжался лицом в стеллаж с хозяйственными товарами. Проходя мимо, я поймал на себе взгляд собирателя значков.

— Добрый вечер! — выговорил я с улыбкой.

Он некоторое время сверлил меня глазами, затем поклонился. Этим дело и кончилось; я вернулся в паб.

Через несколько минут троица присоединилась к двум любителям пива. Опекунша подошла к стойке и сделала заказ. Меня поразило, что эти люди, по-детски шумные на улице, вели себя тише воды, ниже травы и в магазине, и в пабе. Вновь прибывшие получили безалкогольные напитки. Мне послышалось, что кто-то из них произнес «день рожденья», но я мог ошибаться. Решив, что теперь самое время заказать ужин, я направился к стойке. Определенного плана у меня не было. Трое вновь прибывших, которые

еще не успели занять столик, ненавязчиво повернули ко мне головы. Я вторично обратился к фалеристу с приветливым «Добрый вечер!», и он отреагировал, как в первый раз. Придурковатый оказался прямо передо мной, и я, прежде чем подойти к стойке, внимательно его рассмотрел. На вид ему было под сорок: высокий, бледный, в сильных очках. Мне показалось, он сейчас опять повернется спиной. Но произошло то, чего я никак не ожидал. Он снял очки и посмотрел на меня в упор. У него были спокойные карие глаза.

Почти непроизвольно у меня вырвалось:

— Я — друг Мэри.

Сначала он заулыбался, но тут же пришел в смятение. Отвернулся, стал тихонько канючить, засеменил к индианке и схватил ее за руку. Я подошел к стойке, половиной зада опустился на барный стул и начал изучать меню. Не прошло и минуты, как рядом со мной возникла чернокожая опекунша.

— Прошу прощения, — обратился я к ней. — Надеюсь, я ничего плохого не сделал.

— Не знаю, — ответила она. — Им волноваться вредно. Особенно сейчас.

— Я его видел и раньше, вместе с Мэри, когда она сюда приезжала. Я — ее друг.

Она покосилась на меня, словно оценивая мои намерения и правдивость.

— Тогда вы сами должны понимать, — тихо выговорила она, — правда же?

— Да, разумеется.

Что характерно: я действительно понял. Мне больше не требовались ни фалеристы, ни молодые социальные работники.

Все ответы были написаны у него на лице. Нечасто такое случается, да? По крайней мере, в моем опыте — крайне редко. Все мы что-то такое слышали, что-то читали — и вот оно, найденное свидетельство, наше собственное доказательство. Но когда внешность противоречит словам, мы склонны полагаться на внешность. Бегающий взгляд, вспыхнувший румянец, легкий тик — и все становится ясно. Мы тут же отметаем лицемерие или ложь — и видим неприкрытую истину.

Но тут вышло иначе, гораздо проще. Никакого противоречия не было: я все понял по его лицу. По глазам — по их цвету и выражению, по бледности щек, по контуру скул. Доказательством служили и его рост, и пропорции тела, и мускулатура. Это был сын Адриана. Не видя ни свидетельства о рождении, ни результатов анализа ДНК, я сам это понял и прочувствовал. Да и по времени все

совпадало: возраст именно тот.

Моя первая реакция, каюсь, оказалась эгоцентрической. Я поневоле вспомнил, что написал в той части письма, которую адресовал Веронике: «Вопрос только в том, успеешь ли ты забеременеть, пока он не поймет, что ты зануда». В тот момент это было сказано даже не всерьез — я просто изгалялся, не зная, как бы ее уколоть. На самом деле, пока мы встречались с Вероникой, я находил ее то обворожительной, то загадочной, то придирчивой, но занудой — никогда. И даже сейчас, после многолетнего перерыва — при том, что список прилагательных нуждался в корректировке: несносная, упрямая, высокомерная, но все еще обворожительная, — занудой она не стала. Так что обвинение было столь же несправедливым, сколь и оскорбительным.

Но это еще не все. Стараясь растоптать их обоих, я тогда написал: «Что-то во мне даже надеется, что у вас будет ребенок, потому что я свято верю в месть времени… Но месть должна попадать в точку…» И дальше: «Поэтому я не желаю, чтобы кара пала на вас. А обрекать невинный плод на такую участь — знать, что он порождение ваших чресл, уж простите за высокопарность, — было бы неоправданной жестокостью». В буквальном

смысле слова «угрызение» предполагает, что нечто тебя грызет: именно это и делает совесть. Нетрудно представить, как яростно она меня грызла, когда я перечитывал свои слова. Они звучали как древнее проклятие, которое я сам наслал, а потом забыл. Естественно, я не верю… не верил в проклятия. То есть в слова, вызывающие к жизни события. Но сам факт упоминания событий, которые потом стали реальностью, сам факт пожелания зла, которое не преминуло свершиться, по сей день вызывает у меня нечеловеческий ужас. И если даже у меня-юнца, который наслал проклятие, и у меня-старика, который увидел, как оно сбылось, были разные представления о совести, это, как ни чудовищно, не играло никакой роли. Узнай я, пока не началась вся эта заваруха, что Адриан вовсе не покончил с собой, а вопреки здравому смыслу женился на Веронике, что у них родился ребенок, а может и не один, и уже пошли внуки, я бы ответил: «Вот и славно, каждому свое, вы пошли своим путем, я — своим, и без обид». Но теперь эти бесполезные штампы разбивались о непоколебимую реальность. Время отомстило невинному младенцу. Я вспомнил, как этот несчастный, ущербный человек отвернулся от меня в магазине, вжавшись лицом в рулоны

кухонных полотенец и экономичных упаковок многослойной туалетной бумаги, чтобы только не сталкиваться со мной лицом к лицу. Чутье не обмануло его: он знал, к кому нужно поворачиваться спиной. Если жизнь и воздавала по заслугам, то я заслужил, чтобы меня чурались.

За считаные дни до этого случая у меня еще возникали смутные фантазии насчет Вероники, хотя мне было неведомо, как она жила последние сорок с лишним лет. Теперь я получил ответы на многие незаданные вопросы. Она забеременела от Адриана, и — как знать? — потрясение от его самоубийства оказалось губительным для плода, который она носила под сердцем. У нее родился сын, которому поставили диагноз… какой? Социально не приспособлен, нуждается в постоянном наблюдении, эмоциональной и финансовой поддержке. Я не знал, в каком возрасте ему могли поставить такой диагноз. То ли вскоре после рождения, то ли по прошествии обманчиво-спокойных лет, в течение которых Вероника, должно быть, утешала себя тем, что ей осталось после житейского краха. Но потом… сколько лет она шла ради него на жертвы и, возможно, подрабатывала в каких-нибудь клоповниках, чтобы он мог учиться в спецшколе? Со временем ей, наверное,

становилось все труднее с ним управляться, и в конце концов, не выдержав этих испытаний, она сдала его на попечение государства. Вообразите, что она при этом чувствовала; вообразите ощущение потери, провала, вины. А я еще жалуюсь, что моя дочь иногда забывает написать мне по электронной почте. И вспоминаю недостойные мысли, которые возникли у меня при встрече с Вероникой на Шатком мосту. Я счел, что вид у нее потасканный и неухоженный; что она издергана, неприветлива, лишена обаяния. На самом-то деле мне повезло, что она снизошла до приветствия. А я еще хотел выцарапать у нее дневник Адриана? Думаю, она его сожгла, и я бы на ее месте поступил точно так же.

Тогда — и еще долго — поделиться мне было не с кем. Не зря же Маргарет говорила: «Решай сам, Тони». И правда, мне предстояло заново оценить целую полосу своей жизни, а собеседницей моей была только совесть. Переосмыслив судьбу и характер Вероники, я решил вернуться в прошлое и разобраться, что же представлял собой Адриан. Мой друг-философ, который, посмотрев на жизнь в упор, пришел к выводу, что любой разумный, отвечающий за свои действия индивидуум должен иметь право отказаться от непрошеного

подарка, и совершил благородный жест, который с каждым уходящим десятилетием все более отчетливо высвечивал компромиссы и малости, из которых складывается жизнь большинства. «Жизнь большинства»: моя жизнь.

Нынче этот образ — живой и мертвый упрек мне и всем на меня похожим — был вывернут наизнанку. «Диплом с отличием, самоубийство с отличием», как постановили мы с Алексом. Какой же Адриан достался мне теперь? Тот, который сделал ребенка своей подруге, спасовал перед обстоятельствами и нашел, как раньше говорили, «самый легкий выход». Хотя где уж тут легкость, если отдельная личность в конце концов поднимает себя над великим доминирующим большинством. И как мне было перекалибровать Адриана, чтобы из ниспровергателя, из приверженца Камю, для которого самоубийство — единственная по-настоящему серьезная философская проблема, получился… кто? Не более чем двойник Робсона, которому Эрос и Танатос были до лампочки, как выразился Алекс, когда непримечательный до той поры ученик шестого физико-математического класса покинул этот мир со словами «мама, прости».

Обсуждая в своем кругу, кем же могла быть

подруга Робсона, мы перебрали варианты от стыдливой девственницы до шлюхи с букетом венерических болезней. Никто из нас даже не заикнулся о ребенке и о его будущем. Только сейчас я впервые задумался, какая судьба постигла девушку Робсона и их общего ребенка. Мать — надо думать, моя ровесница, — вполне возможно, еще жива; ребенку, наверное, под полтинник. Неужели он так и живет с убеждением, что «папа» погиб в аварии? Не исключено, что его отдали на усыновление и он вырос с ощущением собственной ненужности. Но в наши дни усыновленные дети имеют право на розыск своих биологических матерей. Я представил, как могла бы выглядеть такая неловкая, горькая встреча и во что она могла вылиться. Поймал себя на том, что хочу, даже по прошествии стольких лет, извиниться перед девушкой Робсона за ту надменность, с какой мы перемывали ей кости, ни на минуту не подумав, сколько стыда и боли ей пришлось пережить. У меня даже возникло желание найти ее, чтобы получить прощение за нашу черствость, пусть и неведомую ей доселе.

Но эти размышления насчет Робсона и его подруги стали для меня только предлогом, чтобы отвлечься от истории Адриана. Робсону ведь

было лет пятнадцать-шестнадцать? Жил он с родителями, которые определенно не относились к либералам. А если девушка на тот момент не достигла шестнадцати, ему грозила статья за изнасилование. Так что общего мало. Адриан, взрослый человек, давно ушедший из родительского дома, был куда умнее бедняги Робсона. В ту пору правило было такое: если твоя девушка забеременела и отказывается делать аборт — женись. Однако Адриан не смог примириться даже с такой условностью. «Как ты думаешь, не оттого ли это случилось, что он был слишком умный?» — саркастически вопрошала моя мать. Нет, ум здесь ни при чем, а сила духа — тем более. Он не отверг царственным жестом дар бытия; он испугался коляски в коридоре.

Что я понимал в этой жизни, если всегда жил с оглядкой? Если не изведал ни побед, ни поражений, а просто плыл по течению? Если быстро отказался даже от своих жалких амбиций? Если избегал неприятностей и называл это инстинктом выживания? Если платил по счетам, ладил, насколько возможно, со всеми, а вдохновение и отчаяние знал только по романам? А если за что-то себя и упрекал, то всегда безболезненно?

Да, обо всем этом предстояло как следует поду-

мать, когда ко мне пришли очень специфические угрызения совести — в виде раны, нанесенной в конце концов тому, кто всегда уворачивался от ран, за что и поплатился.

«Вон!» — скомандовала Вероника, въехав на бордюр со скоростью двадцати миль в час. Теперь мне виделся в этом слове более широкий смысл: вон из моей жизни, я не хотела тебя в нее впускать. Напрасно я согласилась с тобой встретиться, а тем более пообедать, напрасно показала тебе своего сына. Вон отсюда! Вон!

Будь у меня ее домашний адрес, можно было бы написать ей нормальное письмо. А так я придумал тему электронного сообщения — «Извинение», потом исправил на «ИЗВИНЕНИЕ», но это выглядело как вопль; пришлось восстановить первоначальный вариант. Говорить можно было только начистоту.

Дорогая Вероника.

Понимаю, тебе сейчас меньше всего хочется, чтобы я напоминал о себе, но надеюсь, ты прочтешь это до конца. Ответа не жду. Но я пересмотрел кое-какие свои взгляды и хочу перед тобой извиниться. Я не надеюсь, что ты будешь думать обо мне лучше, а хуже просто некуда. То мое письмо было непростительным. Могу

только сказать, что гнусные слова вырвались под влиянием момента. Я сам был потрясен, когда по прошествии долгих лет прочел их заново. Думаю, ты не отдашь мне дневник Адриана. Если ты его сожгла, на этом все. Если нет — он бесспорно принадлежит тебе, поскольку его вел отец твоего сына. Теряюсь в догадках, почему твоя мама завещала его мне, но это уже неважно.

Прости, что доставил тебе столько неприятностей. Ты пыталась мне что-то показать, а я по своей черствости не понял. Желаю вам с сыном спокойной жизни, насколько это возможно. Если когда-нибудь смогу вам быть полезен, надеюсь, ты без колебаний ко мне обратишься.

Твой

Тони.

Это все, на что я был способен. Хотелось бы написать получше, но, по крайней мере, я ручался за каждое слово. Я не преследовал никаких тайных целей. Не надеялся что-либо выпросить. Ни дневник, ни расположение Вероники, ни даже прощение.

Не могу сказать, полегчало мне после отправки этого письма или стало только хуже. Я вообще мало что чувствовал. Разве что изнеможение, опустошенность. У меня не возникло желания

поделиться с Маргарет. Мои мысли обратились к Сьюзи: какое счастье, когда младенец появляется на свет с руками и ногами, с нормальным мозгом и с таким эмоциональным складом, который позволяет ребенку, девочке, женщине, вести жизнь по собственному выбору. «Желаю, чтобы ты была как все», — сказал поэт, обращаясь к новорожденной крохе.[32]

Моя жизнь продолжалась. Я по-прежнему рекомендовал книги больным — как выздоравливающим, так и умирающим. Сам тоже кое-что почитывал. Перестал сортировать бытовые отходы. Написал мистеру Ганнеллу, чтобы тот прекратил тяжбу об изъятии дневника. Как-то к вечеру без видимой причины решил прокатиться по Северной кольцевой, сделал кое-какие покупки и поужинал в «Вильгельме IV». Все мне задавали вопрос: «Отдыхать ездили?» В магазине я отвечал «да», в пабе — «нет». В принципе, это было все равно. Как и многое другое. Я размышлял о событиях прошлых лет и о том, сколь ничтожна

[32] Примечания: 32

«Желаю, чтобы ты была как все», — сказал поэт, обращаясь к новорожденной крохе. — Цитируется стихотворение, написанное Ф. Ларкином в 1954 г. по случаю рождения Салли Эмис, младшей сестры писателя Мартина Эмиса. Салли Эмис умерла от алкоголизма в возрасте 46 лет; на ее похоронах звучало это стихотворение.

была моя роль.

Вначале я подумал, что мне случайно переправили старое сообщение. Но это из-за того, что моя тема «Извинение» осталась нестертой. Мой текст тоже остался в неприкосновенности. А ее ответ гласил: «Ничего до тебя не доходит. И раньше не доходило, и никогда не дойдет. Не надейся».

Я сохранил эту переписку во «Входящих» и время от времени перечитывал. Не укажи я в своем завещании, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли по ветру, я бы распорядился, чтобы мне сделали такую надгробную надпись: «Тони Уэбстер. До него так и не дошло». Нет, в этом есть какая-то мелодрама, слезливость. Может, «Он решил сам»? Да, так лучше, правильнее. Но, по всей вероятности, я бы выбрал «Каждый день — воскресенье».

Время от времени я ездил на машине в тот магазинчик и в паб. Как ни странно, там у меня всегда возникало ощущение покоя; а вдобавок ощущение цели — возможно, последней настоящей цели в моей жизни. Как и раньше, я не переживаю, что трачу время впустую. На что мне еще тратить время? А обстановка там дружелюбная, лучше, чем в моем районе. Никакого определенного плана у меня не было, но это не

новость. У меня уже сто лет «планов» не было. А возрождение былого чувства к Веронике — если оно и состоялось — едва ли тянет на «план». Скорее это мимолетный, болезненный порыв, постскриптум к краткой истории унижений.

Как-то раз я спросил у бармена:

— Скажите, пожалуйста, нельзя ли для разнообразия нарезать картофель потоньше?

— Это как?

— Ну, как во Франции — тонкими ломтиками.

— Нет, у нас такого не подают.

— А в меню сказано, что у вас картофель фри — ручной нарезки.

— Ну.

— Так почему бы не нарезать потоньше?

Обычная любезность бармена улетучилась. Он посмотрел на меня так, будто пытался определить, кто я такой: педант или придурок, а возможно — и то и другое.

— Ручной нарезки — значит нарезанный толсто.

— Но если ручной нарезки, отчего же не нарезать потоньше?

— Мы не нарезаем. Нам так привозят.

— Картофель нарезают не у вас на кухне?

— Я же сказал.

— То есть в меню написано «картофель фри ручной нарезки», а на самом деле нарезка производится неизвестно где и, скорее всего, механическим способом?

— Вы к нам с проверкой, что ли?

— Боже упаси. Мне просто странно. Никогда не знал, что «ручной нарезки» означает «толсто нарезанный», а не «нарезанный исключительно вручную».

— Теперь будете знать.

— Ну, извините. Не понял.

Вернувшись за столик, я стал ждать, когда мне принесут ужин.

И тут, как гром среди ясного неба, появились те пятеро, в сопровождении молодого социального работника, которого я видел из машины, когда приезжал с Вероникой. Коллекционер значков, проходя мимо меня, помедлил и отвесил поклон; значки на его охотничьей шапке тихонько звякнули. За ним шли остальные. При виде меня сын Адриана выставил вперед плечо, будто отгораживался от напасти. Все пятеро отошли к дальней стене, но садиться не стали. Социальный работник подошел к стойке и заказал напитки.

Мне подали хек и картофель фри ручной нарезки, причем картофель — в металлической миске,

выстланной газетной бумагой.[33] Наверное, я улыбался своим мыслям, когда ко мне подошел молодой социальный работник.

— Можно на пару слов?

— Конечно.

Я указал на свободный стул. Посмотрев ему через плечо, я заметил, что его подопечные смотрят на меня во все глаза и сжимают в руках стаканы, но не пьют.

— Я — Терри.

— Тони.

Рукопожатие вышло неловким, как всегда бывает в сидячем положении. Он немного помолчал.

— Угощайтесь картошкой.

— Нет, спасибо.

— А вам известно, что когда в меню сказано «картофель фри ручной нарезки», это всего лишь означает «нарезанный толстыми брусками», а не нарезанный вручную?

Он посмотрел на меня примерно так же, как и бармен.

---

[33] Примечания: 33

Мне подали хек и картофель фри ручной нарезки, причем картофель — в металлической миске, выстланной газетной бумагой. — Дань старой английской традиции: жареную рыбу с картофелем фри (fish and chips), любимое многими британцами недорогое блюдо, обычно продавали навынос в кульках, свернутых из вчерашнего номера дешевой газеты.

— Я насчет Адриана.

— Насчет Адриана, — повторил я.

Почему мне не пришло в голову спросить имя? А как иначе его могли назвать?

— Ваше присутствие его нервирует.

— Прошу прощения. Совершенно не хотел его нервировать. Да и никого другого тоже. *Никогда.* — Парень будто бы заподозрил иронию. — Ладно. Больше он меня не увидит. Сейчас я поем и уйду, и никто из вас больше меня не увидит.

Он кивнул.

— Можно спросить, кто вы такой?

В самом деле, кто я такой?

— Ну, разумеется. Меня зовут Тони Уэбстер. Мы с отцом Адриана в молодости были друзьями. Вместе учились в школе. И мать Адриана я тоже знал. Довольно близко. Потом наши пути разошлись. Но вот уже пару недель мы довольно тесно общаемся. Точнее, месяцев.

— Пару месяцев?

— Да, — подтвердил я. — Но больше я с Вероникой общаться не буду. Она не желает меня знать. — Я старался, чтобы это прозвучало как констатация факта, а не как жалоба.

Он вгляделся мне в лицо.

— Вы же понимаете, нам запрещено разглашать

истории наших подопечных. Это конфиденциальная информация.

— Разумеется.

— Ваши слова, по-моему, лишены смысла.

Я спохватился:

— А… Вероника… да, извините. Я только сейчас сообразил, что он — Адриан — зовет ее Мэри. Наверное, с ним она себя так и называет. Это ее второе имя. Но я ее знал — и знаю — как Веронику.

Еще раз посмотрев ему через плечо, я увидел, что все пятеро так и застыли на месте, не пьют и с тревогой глядят в нашу сторону. Мне стало совестно, что я нарушил их спокойствие.

— Хоть вы и были дружны с его отцом…

— И с матерью.

— …боюсь, вы кое в чем заблуждаетесь. — По крайней мере, он выразился не так, как некоторые.

— В чем же?

— Мэри ему не мать. Она его сестра. А мать Адриана скончалась полгода назад. Он очень тяжело переживал ее смерть. Из-за этого в последнее время у него начались… проблемы.

Я машинально сунул в рот картофельный ломтик. Потом еще один. Они были недосолены. Вот

чем плохи толсто нарезанные брусочки. У них внутри слишком много картошки. А тонко нарезанные, во-первых, покрыты более хрустящей корочкой, а во-вторых, ровнее просолены.

Мне больше ничего не оставалось, как пожать руку Терри и повторить свое обещание.

— Надеюсь, он оправится. Я же вижу: им обеспечен прекрасный уход. Они себе живут-поживают, все пятеро.

Он встал из-за стола.

— Мы, конечно, стараемся, но нам бюджет урезают почти каждый год.

— Удачи вам всем, — сказал я.

— Спасибо.

Расплачиваясь, я удвоил свою обычную сумму чаевых. Чтобы от меня был хоть какой-то прок.

А позднее, сидя дома, я еще поразмыслил. И мне все стало ясно. Во-первых, почему дневник Адриана оказался у миссис Форд. И почему она сделала приписку: «P. S. Как ни странно, в последние месяцы жизни он, по-моему, был счастлив». Во-вторых, что имела в виду чернокожая опекунша, когда сказала: «Особенно сейчас». И что имела в виду Вероника, когда упомянула «кровавые деньги». Наконец, о чем рассуждал Адриан на той странице, которую мне дали прочесть. «Тогда

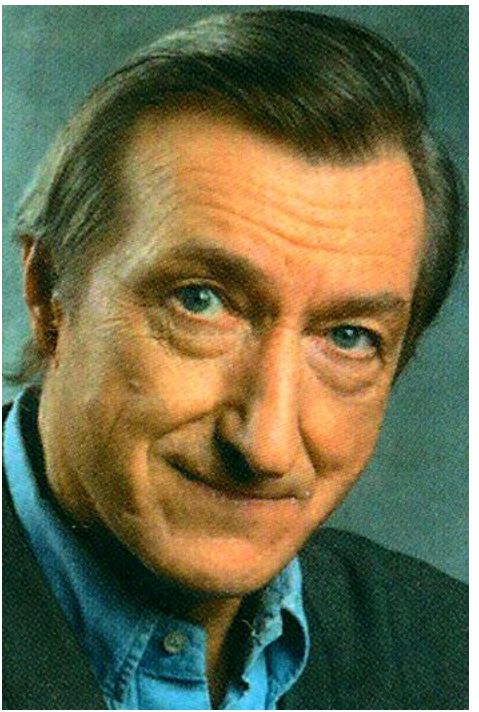
как можно выразить аккумуляцию, содержащую целые числа P, A_1, A_2, C, B?» И дальше — пара формул, выражающих возможные аккумуляции. Теперь все встало на свои места. Первое A — это Адриан, второе — это я, «Антоний», как он меня величал, призывая к серьезности. Наконец, P означало ребенка. Которого произвела на свет женщина — «Мать» — в опасно позднем возрасте. Как следствие, ребенок родился с дефектом. Теперь это несчастный сорокалетний человек. Который называет свою сестру «Мэри». Я рассмотрел цепочку личных ответственностей. И увидел в ней свой инициал. Мне вспомнилось, как в том гнусном письме я сам рекомендован Адриану встретиться с матерью Вероники. Как заезженная пластинка, я повторял эти слова, которые будут преследовать меня до конца дней. Равно как и неоконченная фраза из дневника Адриана: «Так, например, если бы Тони…» Но сделанного было не вернуть и не изменить.

Жизнь подходит к концу — точнее, не сама жизнь, а кое-что другое: возможность каких-либо перемен в этой жизни. Тебе предоставляется длительная остановка; времени достаточно, чтобы задаться вопросом: что еще я сделал не так? Я вспомнил компанию ребят на Трафальгарской

площади. Вспомнил, как единственный раз в жизни танцевала девушка. Задумался о том, чего мне сейчас не дано ни узнать, ни понять, и о том, что вообще никогда не будет доступно знанию и пониманию. Вспомнил определение истории, которое дал Адриан. Вспомнил, как его сын утыкался в рулоны туалетной бумаги, чтобы только не столкнуться со мной лицом к лицу. Перед моим мысленным взором появилась женщина, которая беспечно, кое-как жарила яичницу-глазунью и даже бровью не повела, когда один желток растекся по сковороде; потом та же самая женщина, стоя под освещенной солнцем глицинией, сделала мне тайный знак ладонью в горизонтальной плоскости. А вслед за тем нахлынула залитая лунным светом бурлящая волна, которая тут же устремилась вверх по течению, преследуемая толпой горластых студентов с фонариками, прорезавшими темноту.

Аккумуляция. Ответственность. А дальше — хаос. Великий хаос.

О романе



Произведение потрясающей эмоциональной силы.

Daily Mail

Завораживающая книга… своего рода детектив без преступления.

Independent

Возможно, лучший роман Барнса и уж наверняка — изумительная история, очень человечная и до боли реальная.

Irish Times

Репутация Барнса, и без того блистательная, с этой книгой поднимется на новую высоту. И пусть не введет вас в заблуждение скромный объем «Предчувствия конца»: тайна, составляющая сюжетный двигатель романа, заложена очень глубоко, там, где живут наши самые заветные воспоминания.

The Daily Telegraph

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times